

7

Союз советских писателей
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10-169к.

За родителю



О Г И З
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1942

8/11

СОВЕТЪ СЪЮЗНИХЪ СЪЮЗОВЪ
НАРОДОВЪ

ЗА РОДИНУ

ВЪВЕДЕНІЕ

91

МОСКВА 1918



10-169к.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3-12.

ЗА РОДИНУ

*ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СБОРНИК*

94

ОГИЗ

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1942

Э-2010

10-10-10
ОБЩЕОБЩЕСТВЕННАЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ЗА ПОДПИСЬ

ПОДПИСАТЕЛЬСТВО
ПОДПИСАТЕЛЬ



24

ОБЩЕОБЩЕСТВЕННАЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПОДПИСАТЕЛЬСТВО

Д. Семеновский

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Долго шли мы сечами, полями.
Ветерок трепал вихры овса.
Хмурыми широкими бровями
Сизые вдали сошлись леса.

Как морщинка тихой, долгой думы,
Пролегла лощинка по полям.
На холме под лиственные шумы
Прислонились избы к тополям.

И, томима красотою этой,
— Милая земля! — сказала ты
И поцеловала прах нагретый,
Тонкие былинки и цветы.

Красота родных раздолий с детства
Дорога нам, но и до сих пор
Мы не можем вдоволь наглядеться
На родной, на северный простор.

Любим зиму, радуемся лету,
Росту злаков, ягод и грибов,
И утратим только с жизнью эту
Теплую и верную любовь.

ПУТЬ

Раскосый всадник погонял коня.
Влекомые натянутым арканом,
За ним, бессильно головы клоня,

Бежали пленники. Далеке за курганом
Осталась родина. В поганую орду
Вела степная пыльная дорога,—
Уж много дней вела внучат Дажьбога,
Пленных россиян, на горе и беду.
Чернели на пути обугленные веси,
Был выжжен сад и вытоптан посев.
И звери выходили, осмелев,
На запах мертвечины из полесий.
И синий ворон, вскинув клин крыла,
С расклеванного поднимался тела:
Под сердцем пахаря убитого блестела
Пернатая каленая стрела.
Тяжка была татарская неволя.
Но не погиб могучий наш народ
И сквозь века пришел путем невзгод
К победным стягам Куликова поля.
Сберег он русской речи серебро,
Свои обычаи, свои леса и гумна.
И горе тем, кто посягнет безумно
На жизнь его, свободу и добро!

ЧАПАЕВЦЫ

Не орел своих птенцов
Вел широким следом,—
То Чапаев вел бойцов
К славе и победам.

Мчались в сечу храбрецы,
Крепко белых били,
Наши хаты и дворцы
Грудью защитили.

Снова грянул гром войны,
Пламя рассыпая.
Вновь спешат в поход сыны
И друзья Чапая.

Словно молнии, блещут
Их клинки стальные.
Легче ласточки летят
Скакуны степные.

Кровь у витязей кипит
Жгучей жаждой мщенья:
— Смерть врагу за боль обид,
Нет ему прощенья!

Мчатся витязи вперед,
В бой с ордой фашистской,
Будто вновь Чапай ведет
Их к победе близкой.

САРАНЧА

Все пожирая жадно, все топча
Со лдатским сапогом, незрячим и тяжелым,
Как отвратительная саранча,
Они ползли по нашим русским долам.

Еще в ушах гремит их грузный шаг,
Еще в ночном молчаньи кабинета,
Томясь бессонницей, безумный их вожак
Все мечется, как тень, до синего рассвета.

Он сделал их машинами войны,
Послушными во всем его внушеньям,
И души их до дна развращены
Его нечеловеческим ученьем.

Он возвестил, апостол черной лжи,
Что совесть — это вредный пережиток.
Он разрешил им казни, грабежи
И ужасы средневековых пыток.

И вот они в краю, для них чужом,
Позорят дев, лишают старость крова,
И все, что мы издревле бережем,
Пята тевтона растоптать готова.

Чудовища, они — отцы семейств;
Они обновы посылают женам,
Добытые ценой неслыханных злодейств
По городам, ограбленным, сожженным.

Родитель любящий в походную суму
Пихает куклу девочки советской.
Он подарит ее ребенку своему,
Обрызганную свежей кровью детской.

Еще широко зарево войны,
И ветер тепел от огня и дыма,
Но чувствуют враги: они обречены,
И гибель их близка, неотвратима.

Поднявший меч погибнет от меча.
Страна, ты много вытерпела за год,
Но ты бессмертна. Сгинет саранча.
Враги навек в твоих полях полягут

ВОЗМЕЗДИЕ

Пылает Кельн. Ночную тьму
Невидимые чертят крылья.
За злодеянья, за насилья
Пришло возмездие к нему.
От зыбких зарев город розов,
А грозная ночная твердь
Под гул крылатых бомбовозов
Все шлет ему огонь и смерть.

Чем заняты сейчас они,—
Те господа, чей сговор черный
Толкал планету так упорно
В орбиту мировой резни?
Те торгаши, чей беспощадный
Холодный деловой расчет
По грудь в крови дорогой страдной
Народы бешено влечет?

Под гул воздушных кораблей,
Под сокрушительные взрывы
Что снится им, рабам наживы:
Трофеи новых прибылей?
Иль тень густая, что покрыва
Предвестьем близкого конца

Тот мир, где властвует горилла
С осанкой важного дельца?

В любой норе, в любой щели
Настигнет страшный час отмщенья
Фанатиков обогащенья,
Корыстных палачей земли.
В руинах — Кельн. Во мгле над ним
Невидимые мчатся крылья.
За эскадрилей эскадрилья
Летит по небесам ночным.

ПОМОЖЕМ РАНЕНЫМ

Друзья, теплом заботы всенародной
Согреем братьев, раненных в бою.
Поможем тем, кто родину свою
Отстаивал с отвагой благородной.
Пожертвуем, чем только можем, им:
Своим трудом, своей горячей кровью.
Вернем их к жизни, к бодрому здоровью,
Для новых битв их силы обновим.

Грозна войны стальная непогода.
Над кем ревела бешено она,
Тому так нужны мир и тишина
Внимательного братского ухода.
Ему так нужен терпеливый друг,
Такой отрадой веют на больного
Бодрящий взгляд, участливое слово
И теплота целящих нежных рук.

Подарками, газетою, журналом
Мы скрасим дни защитников своих.
Что нужно им, пусть будет все у них.
Поможем им в большом и в самом малом.
Мы письма им сердечные пошлем,
А в час досуга к ним придем и сами
С бодрящим словом, с песней, со стихами:
Пошутим, почитаем, попоем.

Мы приведем детей к бойцам в палату.
Пусть милая ребячья щебетя
Опять напомнит раненому брату
Родную хату, тополь у плетня,
Семьи далекой ласковые лица,
Привычный труд, счастливый мирный дол,—
Все то, за что он, не колеблясь, шел
С жестокими обидчиками биться.

И раненый почувствует, поймет,
Что в эту небывалую годину
Страна к нему огромным сердцем льнет,
Как любящая мать к родному сыну,
Что мысль о нем, любимом, дорогом,
Живет во всех, света и согревая.
И эта мысль всеобщая, живая—
Залог победы нашей над врагом.

ИЗ ЛАТВИЙСКИХ ПОЭТОВ

Ф. Рокпелнис

ПЕСНЯ ЛАТВИЙСКИХ СТРЕЛКОВ

Несут фашисты мрак тюрьмы
Отчизне дорогой.
На гибель им, ища дьям тьмы,
Народы рвутся в бой.

Чтоб снова цвел посев полей,
Рука моя, рази смелей.
Пусть те, что рабство нам несут,
От пули в лоб падут.

Над пеплом разоренных сел
Встает в крови заря.
Мой штык, воздай врагам за все,
Возмездием горя.

Чтоб городам сиять светлей,
Рука моя, рази смелей.

Кто к нам с оковами идет,
От пули в лоб падет.

Зовет бойцов отчизна-мать
К победе над врагом, —
Зовет отпор фашистам дать,
Ускорить их разгром.

Чтобы народ дышал вольней,
Рука моя, рази верней.
Захватчикам родной земли
Ты пулю в лоб пошли.

*Перевел с латвийского
Д. Семеновский.*

У БЕРЕГОВ ЛОВАТИ

Бурно пенилась Ловать седая,
Еще мины взрывались у хат.
Полк латышских стрелков, наступая,
Уходил за реку на закат.
Мимо девушка шла от колодца,
Услыхала приказ боевой.
— Чья, скажите, здесь речь раздается?
Кто мне дом возвращает родной?
Ей сказали: под гул Даугавы¹
Боевые слова рождены.
Мы явились на зов величавый
Стоязычной бескрайной страны.
Знаем, этому грозному мигу
Нас, ее сыновей, не сломать:
Ведь за родину нашу, за Ригу
В бой идет стоязычная рать.
И когда после бранной тревоги,
Все в огнях, побегут поезда,
Приезжай по расцветшей дороге
В ночь Иванову в наши места.
Дни борьбы в нас любовь утверждали
К обретенным в невзгоде друзьям.

¹ Даугава—река Двина.

В эту ночь перекликнутся дали,
И края улыбнутся краям.
И Курземское¹ пиво, как Ловать,
Заиграет в прозрачном стекле,
И виденья похода бывшего
Опьянят нас в предутренней мгле.
...Бурно пенилась Ловать седая,
Грохотал у села миномет.
Полк латышских стрелков, наступая,
Шел заречьем на запад, вперед.

*Перевел с латвийского
Д. Семеновский.*

Андрейс Балодис

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

От лучезарного далекого востока,
От юга теплого, под сладкий звон потока,
От северных снегов, под ропот непогоды,
Пылая яростью, стекаются народы
Изгнать грабителей из стен родного дома,
Приблизить в вихре битв минуту их разгрома.

Любой народ страны, республика любая
Всем лучшим жертвуют, победу добывая
Таджик, украинец, зырянин, русский ратай
Дают зерно, руду, сетей улов богатый,
И танки тяжкие и пушки с грозным зевом,
Готовые дышать возмездием и гневом.

Баку приносит нефть. Алма-Ата сказала:
— Недаром я стада в долинах собирала,
Растила яблоки, воспетые Джамбулом. —
Гудит Караганда труда горячим гулом,
А славная Москва с бесстрашным Ленинградом
Загородили путь тевтонских орд громадам.
А ты чем жертвуешь, о край Латвийский милый?

¹ Курземэ—область Латвии.

— Я дал своих сынов, героев, полных силы,
Поля, где свеж еще багрец ручьев кровавых,
Отряды партизан в болотах и дубравах,
Дал Даугавы ток, где гнев кипит народный,
И жаркую мечту об участи свободной.

*Перевел с латвийского
Д. Семеновский.*

ПЕТРЯЕВСКИЙ МЕЛЬНИК

Командир десантного отряда вызвал к себе ночью Тихона Ершова и послал его в штаб части. Это был скромный и незаметный боец, лет тридцати. На него, как на местного жителя, знающего в этих местах каждую ложбинку, каждый холмик, пал выбор командира.

Тихону предстояло пройти сквозь расположение немецких частей, пересечь линию вражеской обороны и доставить донесение. На обратном пути ему поручалось показать самый удобный и безопасный путь обхода укрепленного узла сопротивления.

— Ни на одну минуту не забывай, что от этого зависит успех всей операции, — сказал ему на прощанье командир.

Десантный отряд должен был соединиться со своей частью после завершения этой операции. Командир добавил:

— Увидимся, когда уничтожим в этом районе немцев.

Ершов надежно убрал пакет, повесил на грудь автомат, встал на лыжи и двинулся в путь. Время полночь, но Тихон шел не торопясь. Потомственный крестьянин, он умел с расчетом тратить силы и некоторый запасец их всегда приберегать на всякий непредвиденный случай. Путь опасный и дальний, многое может приключиться.

Ершов шел знакомыми местами. Проходил леса, перелески, овраги, ложбины, поля, припоминал их названия. Вот сюда он ходил за грибами, за ягодами. Здесь он пахал и сеял. К этой одинокой кудрявой березе пряными летними вечерами прибегал на свидание к своей любимой, которая впоследствии стала его женой. Тянется бесконечная вереница заснеженных ветел, похожая в потемках на снежный вал. Это правый берег речки, которая неутомимо петляла, делала резкие повороты и где-то далеко

вливалась в широкую реку, впадающую в могучую Волгу.

Речка была узенькая, но многоводная, омутистая, капризная и рыбная. Ее ласково звали Внучкой. Внучка великой русской реки.

На своем пути, а Ершов выбирал насколько возможно путь короткий, он уже пересек ее два раза. В деревне Петряево на Внучке стояла мельница. Там Ершов жил в просторном приделке к мельнице с женой и маленьким сыном. Он работал мельником, ловил в омутах рыбу, разводил породистых гусей. Уж очень места тут для птицы кормные. Гуси выгуливались чуть ли не с барана.

Счастливые были времена. А жена у него какая хорошая. Она работала председателем колхоза. Ему не стыдно признаться, что она дельнее, активнее его. Он замкнут и необщителен. По характеру ему в колхозе подобрали и работу. На мельнице, в стороне от людей, он чувствовал себя превосходно. Она, человек веселый, с неудержимой кипучей деятельностью, лучше чувствовала себя в самой гуще коллектива. Нередко среди рабочего дня она заглядывала на мельницу.

— Официальное посещение? — сдерживая усмешку, спрашивал Тихон. — Ну, давай, руководи мельником.

Ах, какое это было чудесное время. Увлеченный воспоминаниями, он как-то незаметно для себя дал порядочного крюку. Сначала ему нестерпимо хотелось узнать, сохранилась ли петряевская мельница, а потом стало казаться, что путь через мельницу самый безопасный.

Он подошел к Петряеву ранним утром. Над деревней вставал унылый бледный рассвет. Сквозь мертвый морозный туман проглядывали заснеженные деревья, крыши изб. Из деревни не доносилось ни голосов, ни скрипа ворот. Ни одного утреннего дымка не подымалось из труб. Петряево казалось мертвым. Ершов замерзшим руслом Внучки подобрался к мельнице и огляделся. На дороге, которая спускалась от Петряева к реке, валялись разбитые автомашины, орудия и трупы немецких солдат. На одной из автомашин еще что-то дымилось, трупы не запорошены снегом, все говорило о том, что истреблением немцев кто-то здесь занимался совсем недавно, видимо, этой ночью. Двери на мельницу и в приделок, в котором жил Ершов с семьей, были раскрыты, снег вокруг мельницы вытоптан. Никаких признаков жизни вокруг он не заметил.

„Уехала, наверно, — подумал он о жене, — скрылась“. Двинулся дальше по руслу Внучки, которая огибала Петряево полукругом. Здесь ветлы обступали реку с обеих сторон, к ветлам намело сугробы снега, так что пройти тут, слегка пригнувшись, можно было незаметно. Вот он обошел деревню. Недалеко лес. Можно свернуть в него и двигаться быстрее.

Но позади его послышались голоса, хруст снега. Ершов залег под ветлой, потом осторожно приподнялся над сугробом и огляделся.

На окраине деревни, где стояли колхозный клуб и детские ясли, немцы вели под усиленным конвоем троих русских — одну женщину и двух мужчин. Местоположение клуба и яслей обозначали теперь черные пожарища, выглядывающие из-под снега.

Тихон взгляделся в фигуры колхозников и узнал всех троих. Это были его, Тихона, жена Анисья — председатель Петряевского колхоза, хромою на одну ногу кладовщик Черемин и конюх из соседнего колхоза Матвей Матвееч. „Попались, — догадался Тихон, — расстреливать будут“.

В горячке он схватился за автомат, вскинул к плечу, приладился стрелять, но какая-то внутренняя сила неожиданно ослабила его руки. Его обнаружат, если он откроет огонь, бросятся в погоню, могут подстрелить и захватить. Тогда он провалит дело, боевая операция не состоится, десант окажется в тяжелом положении, там могут погибнуть сотни, из-за троих близких людей будет сорвана важная операция, и немцы останутся в его родном краю.

Он приподнял голову. Немцы медлили... Из деревни фашисты гнали большую группу жителей. „Для устрашения ведут,“ — мелькнуло в мыслях. Он уткнулся лицом в снег, чтобы не видеть, забыться... Ему пришел на память один день из его жизни...

Весна. Половодье. Ночь. Ершovy спали. Мельница неожиданно как-то крикнула и качнулась. Анисья толкнула мужа локтем:

— Слышишь, что Внучка делает.

Одно мгновение Ершovy вслушивались. В шкафчике задрезжала чайная посуда. Тихон вскочил, сунул ноги в валенки, накинул на себя полупуховик и без шапки выбежал на волю. Под напором воды плотина стонала. Резкий теплый ветер вздыбил волосы на голове Тихона, распахнул шубу, толкал назад.

Тихон мелкими шагами вбежал на обледенелую пло-

тину и отчаянным напряжением всех сил открыл первый щит. Вода хлынула, и с ней большая льдина, невидимая в темноте, незаметно подползла к Тихону и толкнула его на край плотины. Вскочив на нее, он бросился к берегу, но поскользнулся и упал. Льдина вздыбилась и с треском раскололась. На один миг он увидел полу своей распахнувшейся шубы и воронку бурлящей воды, которая дохнула ему в лицо холодом... Анисья ждала его пять, десять минут... Тихон не возвращался и не подавал голоса. Анисья наскоро собралась и вышла. Тихона не видно. Резвая река разворотила плотину, шумела, вертела...

Анисья закричала громко, призывно. Вгляделась в крутой водоворот. Вода неслась кипящими волнами. Анисья в тревоге побежала берегом, вглядываясь в темноту, готовая каждую минуту броситься на помощь.

Она забыла о себе. Впереди возле берега показалась голова и скрылась. Анисья вгляделась. Вновь показалась голова человека и исчезла. Вода то на миг отступала, то опять заплескивала голову мужа. Река, смахнув мельника с плотины, провернула его в бешеном круговороте водопада и, затихая на разливе, выплеснула на пологий берег.

Анисья на руках принесла мужа в избу, раздела его, укутала шубами, поила чаем, растирала грудь... Об этом происшествии, хлопотах и заботах жены приятно было вспомнить, к сердцу подступало тепло. На один миг показалось ему, что сейчас перед ним только страшное видение, которое вот-вот рассеется от сладких воспоминаний о счастливых днях.

Но послышались лающие окрики немецких солдат. Они кричали и толкали прикладами жителей Петряева, нежелающих близко подходить к месту расстрела. И страшная действительность вновь встала перед ним во всем ужасе. Эти поганые изверги расстреляют его жену... От волнения и жажды мщения он задрожал и почувствовал, как влажнеют его глаза, застилаясь туманом, и руки сами тянутся к автомату. Надо действовать немедленно и решительно. Опытным глазом фронтовика он стал прикидывать, что можно сделать, чтобы вырвать из лап смерти жену и ее товарищей и самому уцелеть, добратся до штаба. Вот этих немцев, что стоят справа и слева, он может сразить наверняка... Но как быть с теми, что стоят за спиной Анисьи, Черемина, Матвей Матвеевич, и с теми, что подгоняют прикладами петряевцев. После первых же выстрелов немцы залягут и

начнут отстреливаться, могут окружить. Он готов с ними сражаться один, погибнуть, но не ему одному принадлежит его жизнь. Его послали, возложили на него все надежды. Невидимыми нитями родства, единой цели и ответственности он связан с тысячами жизней бойцов, командиров, с петряевцами, с жизнью всей страны.

— Анисья, — хотелось крикнуть ему. — Я здесь, но я не могу спасти тебя, я должен хорошо исполнить порученное мне дело. Жена, — подумал он, — так бы ответила ему: Иди, Тихон, хорошо делай свое дело. Прощай. Именно так сказала бы она, умная бесстрашная женщина. Слезы навернулись на глаза, и первый раз в жизни он заплакал.

Горячие слезы падали в снег, прожигая в нем крошечные ямки... До боли в руках сжимал он свой автомат, хотелось пустить в немцев горячую очередь свинца, вырвать жену из лап смерти, но сознание ответственности останавливало его.

Раздался высокий женский голос: „Скоро придет конец вам, гады“. Это крикнула Анисья... Жена. Раздались выстрелы. Множество выстрелов... Как будто немцы расстреливали не трюх, а сотню. Ершов приподнял голову. Его жгло внутренним огнем ненависти и волнения. Там, где он припадал в снег пылающим лицом, блестела ледяная корочка. На снегу лежали три трупа. Жители Петряева — старики, старухи, дети понуро уходили в деревню. Их гнали теперь назад немецкие солдаты, укутанные в шали, платки, шарфы, отнятые у петряевцев.

Когда околица опустела, Ершов ползком добрался до леса и там встал на лыжи. Теперь он подвигался быстро. Огромное чувство возмущения толкало его вперед, придавало сил. В середине дня он прибыл в штаб части. Его накормили и послали выспаться. Но ему не спалось, сердце горело в тревоге и жажде мести. Вечером часть выступила. Ершов провел ее в обход вражеского узла сопротивления так ловко, что немцы не заметили движения. Перед утром наши войска ударили на немцев с фланга и тыла. Ершов бил немцев с особенной яростью, он мстил, устилая петряевские поля их трупами. После боя Ершов обратился к комиссару:

— Разрешите сходить в Петряево... Надо мне похоронить жену и разыскать сына.

— Что такое там произошло? — Красноармеец рассказал все, что видел, пережил вчера утром. Комиссар удивился, какой силой воли, каким мужеством обладает этот про-

стой малоразговорчивый человек, и решил пойти с ним. Они заглянули на петряевскую мельницу. В приделке, где жили Ершовы, пол был усеян осколками стекол, обрывками бумаги. В комнате ни одежды, ни мебели, ни белья. В углу куча соломы. Из нее выглядывала шапка. Комиссар склонился и поднял ее. Показались спутанные беледые волосенки детской головки. Солома шевельнулась, — выглянуло детское личико.

— Санька-а, — вскрикнул Тихон.

Мальчик стал вылезать из соломы. Отец поднял его на руки и крепко-крепко прижал к себе.

— Маму убили, — сказал мальчик, — я сам видел.

Его бледное грязное личико выглядело не по-детски серьезным, глаза смотрели твердо и скорбно.

Партизан — Анисью Ершову, Черемина и Матвея Матвейча, захваченных немцами и расстрелянных, красноармейцы похоронили с воинскими почестями. Сына Тихон устроил к родственнице старушке.

— Папа, — сказал семилетний сын, — я... я не останусь один... Я пойду с тобой.

— Нет, нет, — неожиданно смешался Тихон, и спазма сдавила ему горло, — ты здесь меня подожди... Я прогоню немцев и вернусь... Мы с тобой мельницу пустим, рыбу ловить будем, гусей бо-ольшущих вырастим...

И Тихон широко развел руками, показывая сыну, каких они вырастят гусей.

НИКИТА КОБОЗЕВ

Никита Кобозев, по прозвищу „В понедельник нажмем“, лежал на печи, в дальнем углу, зарывшись в разное тряпье. Спина его, исполосованная, искрещенная немецкими шомполами вдоль и поперек, больно ныла, сердце грызла тоска. От обиды и скуки ему не лежалось, он прилаживался лечь как-то поудобнее, но каждое движение причиняло боль.

Дверь резко отскочила от косяка, и в избу быстро вошел мальчик лет четырнадцати. Из-под шапки, сдвинутой на сторону, выбивался заиндевевший клочок волос, глаза хитровато прищурены. Он был чем-то сильно возбужден и придирчиво оглядел все углы в избе.

— Кто там? — еле слышным голосом спросил Никита.



Мальчик одним махом взобрался на печь и вплотную придвинулся к Кобозеву. Никита не сразу узнал его.

— Племянник... Вася... — Ты это? Вот спасибо — навещил меня, родной мой.

Но Васе некогда было вдаваться в нежности, он сразу заговорил о деле:

— Дядя Никита, за Кулигами пушечки поухивают... В большой-то автомобиль немцы впрягли двух лошадей и повезли куда-то. Припасы перебирают, которые грузят на подводы, которые в другие места перетаскивают. Из нашего сарая гранаты увозят. Немцы меж собой на улице драку затеяли. И те, которые гранаты грузили, бросались туда. Один из ящиков я в сторону оттащил и снежком засыпал. Может не приметят, оставят... Я бы их и угостил на прощанье.

Никита, забыв о боли в спине, приподнялся и принял к мальчику.

— Погоди-ка... Я уж отвык смекать-то... Давай разберемся по порядку. Так ты думаешь — наши идут?

— Идут, дядь Никита.

— И недалеко отсель?

— Факт. К Кулигам подходят.

Никита облегченно вздохнул и принялся креститься, говоря:

— Кулиги отсель рукой подать... Считалось попржнему девять верст. Ну, а Ниткин что делает?

— Совсем бешеный... Мечется по селу, Анну Ситнову только что пристрелил.

— Ах, собака... Да за что же это?

— Она пол примывать взялась, скрести все, а Ниткин и налетел: „Своих ждешь?“ Анва усмехнулась, да на свое несчастье и скажи: „Наши чистогу любят“. Рот у него перекосило, он взбесился и бац в нее.

— Вася, — умоляюще заговорил Никита, — удели ты мне пяточек гранат. Нужно мне. Ты сам знаешь — Ниткин-то мне „крестник“, никак я не могу его из села выпустить. Надо мне с ним поговорить с гвоздем, так, чтобы каждое слово ложилось, как гвоздем прибитое.

— Постараюсь, — пообещал племянник. — У них суматоха поднялась — им за всем не углядеть. Я хочу еще ихний пистолетик ухватить.

— Старайся, но осторожнее, не влопайся напоследки-то. Они теперь перед уходом злее собак.

— Ничего, дядь Никита, мы тоже кое-что смекаем.

Мальчик ушел.

Никита прислушался к звукам, доносившимся с улицы, и стал потихоньку собираться. Одевшись, он притаился на печи в углу и стал ждать вечера. „Ночью бесприменно наши нагрянут,— думал он.— Ну, прощай, Ниткин, хватит, пожили в одной деревне полтора месяца, расставаться пора“.

Ему вспомнилось, как немцы пришли в деревню, как на другой день его вызвал немецкий офицер, худой, высокий, сутулый, с холодным, злым выражением лица. „Собачья морда“,— подумал Никита, увидев его острый подбородок, далеко выдавшийся вперед, выпяченные бескровные губы и длинный прямой нос, слившийся как-то в одно с губами и подбородком. Он немного говорил по-русски:

— Никит Кобзе?— быстро спросил немец.

— Похоже, — нехотя отозвался Никита.

— Что такой похоже?— вскинулся офицер.

— Слова, говорю, похожие на мое имя выкрикиваешь.

— Заем подпись не дал?

— Верно, отказался... — „Какая-то стерва все ему про меня рассказала“,— мелькнуло в голове.

— Работа плохо?

— Да не хвалили.

— В понедельник нажмем?

— По понедельникам, — когда приходилось нажимал, а когда, бывало, и на базар укачишь.

— Карош, — одобрительно заключил офицер, — будешь староста.

Никита вмиг как-то весь отвердел, приподнял плечи и громко ответил:

— Не буду.

— Будешь. Так сказал немецкий офицер Курт Ниткер.

— А мне все равно хоть Ниткин, хоть Веревкин, я сказал не буду, стало быть, не буду. Я такой — меня не своротишь. Не буду и не буду. Сказал — отрезал.

Офицер что-то крикнул. Дело происходило на улице. Солдаты схватили Никиту, свалили на землю, долго секли. Ночью он уполз в свою избу, залег на печь и не показывался нигде. За эти самые мрачные дни своей жизни он все припомнил, все передумал. Прошлая жизнь в колхозе ему теперь казалась одним сплошным светлым днем. Он не умел пользоваться в полной мере всем счастьем той жизни и теперь, бранил себя. Ему нравилось тогда изображать из себя упрямого, вздорного, самого несозна-

тельного мужика. Это доставляло ему некоторый род славы, он был на виду. С ним было принято обращаться особенно деликатно, за ним ухаживали, старались перевоспитать. С этой целью одно время его поставили бригадиром, но Никита не оправдал надежд, не проявил себя. Бригада отставала. Когда ему указывали на отставание бригады в каком-нибудь деле, он обычно отвечал так:

— А вот уж мы в понедельник нажмем.

И это „в понедельник нажмем“ стало его прозвищем.

...Наступил вечер и тянулся нескончаемо долго. Покосившиеся окошки старой кобозевской избы сначала были серыми, потом темнели-темнели и стали совсем черными. Вдруг озарились мертвенно голубым светом — немцы пустили ракету. Долго с улицы не доходило никаких звуков, будто не было там ничего живого. „Такая тишина, что с ума сойти можно“, — подумал Кобозев. И он очень обрадовался, когда тихо скрипнула дверь, и он различил сильное молодое дыхание племянника.

Паренек на этот раз на печь забрался тяжеловато и осторожно.

— Принес? — шопотом спросил Никита.

— Держи... Мало, так еще принесу. Немцы залегли, попрятались, ждут... Машину Ниткина в птичник вкатили, бензином заправили... Удерет он в один момент, ты и не увидишь...

— Я буду глядеть в оба.

Кобозев оделся, рассовал по карманам гранаты и вместе с племянником вышел на волю. У двора они легли за высокий сугроб и затаились.

Слух их не улавливал никаких звуков, но за этой тишиной угадывалось большое движение. И вдруг в небо взвилась ракета, неистово затукали немецкие пулеметы.

— С чего это они взбесились? Кругом еще все тихо, — сказал Вася.

— Слышишь — наши кашляют, — сказал Кобозев, — немцы в ту сторону по „кашлю“ бьют.

Пулеметы смолкли. Вася и Никита лежали, вслушивались. „Кашель“ послышался с другой стороны. Ракеты взвились в двух концах деревни. Вновь забили пулеметы.

— Под каменным-то домом у них штуки три, видно, поставлено. Сползай, Вася, швырни туда им парочку, чтобы заткнулись.

Они расстались. Никита пополз по задворкам на околицу деревни.

У одного из домов он увидел немца. Проваливаясь в глубокий снег, он тащил ящик с минами. Солдат дошел до ледяного вала, который немцы устроили на берегу реки. Кобозев полз вслед за ним и вскоре увидел группу немецких солдат, копошившихся около миномета. Никита подполз ближе и метнул гранату. Вместе с ней взорвались принесенные солдатом мины.

Никита вскочил, побежал и, скрывшись за сарай, огляделся. Его никто не преследовал, и он оживился. „Они боятся, не выходят даже узнать, что произошло“.

У каменного дома один за другим раздалось три взрыва. „Васюха старается“—подумал Никита. Сразу же после этого немцы со всех сторон открыли ураганный огонь. Наши не отвечали. Никита добрался до того места, где дорога делала резкий поворот, уходя из деревни в поле, и залег в снегу. Лежал долго и чутко вслушивался во все происходящее вокруг. Сбоку от себя он слышал шум. В деревню шел танк, окрашенный в белую краску. На нем сидели бойцы. „Наши наступают“,—подумал Кобозев и повеселел.

В деревне началась отчаянная пальба, взрывы гранат, и вскоре группы немецких солдат побежали по дороге. Никита привстал и метнул гранату. Первый ряд немцев повалился, остальные разбежались и открыли пальбу вдоль дороги. „Путь себе расчищают“,—усмехнулся Никита. Но вот и немецкая легковая машина. Она мчалась на полной скорости. На повороте шофер не сумел ее развернуть, она врезалась передними колесами в снежную целину, забуксовала. „Теперь она в моих руках,—сказал себе Никита,—я ей зад отшибу, она тут сядет, и с Ниткиным я поговорю“.

Кобозев бросил гранату. Она упала туда, куда он метил,—недалеко от задней стенки автомобиля, но привскочила и шмыгнула в снег.

Шофер в это время дал задний ход. Граната разорвалась под автомобилем, который как-то подскочил и глубоко осел в снег.

— Эх, ты чорт,—выругался Никита,—Ниткина-то я, наверно, укокал.

Немцы, видя, что дорога непроходима, бежали в лес.

Утопая по пояс в снегу, Кобозев долго гнался за ними, бросил им вслед последнюю гранату. Потом остановился, перевел дух и пошел обратно. По дороге заглянул в автомобиль и обнаружил три трупа: двух офицеров и

шофера. Одним из офицеров был ненавистный Курт Ниткер, которого Никита именовал Ниткиным.

Кобозев поглядел на труп, плюнул и, сутулясь, устало пошел в свою избу.

Утром его навестил племянник. Никита сидел, задумавшись, у стола с веником в руке.

— Немцев вышибли, в деревне чисто, — радостно сообщил паренек.

— Я тоже вот хочу избу подмести, чистоту навести, — приподняв в руке веник, сказал Никита. — А Ниткина я, брат, по неосторожности ухлопал.

— А для чего беречь-то надо было его?

— Хотелось мне ему в назидание сказать: „Не след, мол, вам, вшивикам, в наши дела совать свой собачий нос. То да се. „Карош... Будешь староста...“. Чорта с два. Да я... Да нешто я не русский. Да теперь если, так на колхозной работе люди не узнают меня, впереди всех пойду.

И Никита в приливе решимости постучал кулаком в исхудалую от голода и всего пережитого грудь свою.

УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА

По узкой проселочной дороге шел паренек в красноармейской шинели, в новой серой шапке с ушами. Он шел медленно, устало, слегка прихрамывая.

По белому снежному полю кудрявилась поземка. Ветер доносил запах гари. Вдали зачернело. Показались закоптелые остовы труб, голые опаленные деревья и кое-где крыши сохранившихся изб.

Паренька догнал на дороге старик.

Некоторое время он шел рядом, искоса поглядывая на маленького красноармейца.

Потом сразу, как-то обрадовавшись, спросил:

— Сергей, ты ли это?

Маленький красноармеец, совсем еще мальчик, окинул взглядом неожиданно возникшего перед ним спутника, и вмиг его бледное усталое лицо оживилось, покрылось румянцем. Он так обрадовался, что подбежал к старику, обхватил его руками и прижался щекой к поле засаленного кожуха.

Старик ласково погладил мальчика, потрепал заскорузлой рукой по щеке. Пошли дальше. Разговорились.

— Многих наших сельских в живых нет... Немец зверствовал, особенно перед уходом. Домов сколько сожгли... И ваш сгорел. Мамаша твоя у кого-то приютилась. Придешь в село — поспрашивай — скажут.

— А школа сохранилась?

— Школу немец первой всего поджег... Там у него свои раненные лежали... Так прямо с этими ранеными, окаянный, и спалил.

— Ребята теперь не учатся?

— Учатся... Как же не учиться. Давно в школу бегают. Семен Семеныч в колхозной бане школу оборудовал. Как немца выгнали, так и занятия начались. Семен Семеныч да две учительницы чудом сохранились. Остальных немцы с собой угнали. Может еще вернуться. Весь день теперь учатся. В три смены шпарят. Ты уж много уроков пропустил. Тебе бы надо пораньше домой-то... Ты где же пропал?

— В армии служил.

— Чего ж ты там делал такой малолетний?

— Разведчиком был.

— В разведку, стало быть, ходил?

— Неоднократно, — ответил мальчик словом, слышанным в штабе.

— И толк от этого был?

— Хвалиться не буду, но командир благодарил.

Сережа Бычков был смелым разведчиком.

Первый раз он появился в части командира Норовкова с известием, что в поле, далеко от населенного пункта, застрял немецкий обоз. Мостишко через ручей кто-то подпилил, и головная машина рухнула, воткнувшись передней частью в его узкое, но глухое русло. Движение приостановилось. Немцы старались разбитую машину убрать, навести переход. Туда были посланы наши автоматчики. Мальчик показывал им дорогу. Обоз был захвачен.

Не один десяток верст прошел Сережа Бычков с частью Кондакова. Его не раз посылали в разведку. Он незаметно пробирался в населенные пункты, быстро сходилась с ребятами. Дети знали все о положении врага в деревне. Он узнавал от них ценнейшие сведения, главное сам оглядывал и возвращался в штаб.

Часть, в которой служил Сережа Бычков, выдвинулась к городу, окружила его.

Между пригородным поселком, где находились наши войска, и городом пролежала широкая равнина. Посреди нее стояла крупная зенитка, оставленная немцами. Немцы предпринимали попытки перетащить ее к себе, но дело каждый раз кончалось тем, что на снежной поляне появлялись новые черные кочки из фашистских трупов. Сережа долго вглядывался в эту пушку, соображал, высчитывал и, наконец, сказал командиру:

— А я ее перетащил бы... Разрешите, товарищ майор. Я маленький... В белом халате я белой мышкой подползу к пушке, накину петлю на ее тяж, а бойцы здесь за концы каната возьмутся и потянут ее.

„К грузовику можно прицепить и перетащить в один миг“, — подумал майор.

— Как бы не ухлопали тебя, — сказал он. — Смотри! Осторожнее!. Чтобы проползти точно, как белая мышь.

Через некоторое время мальчик в белом халате полз к орудию.

Никакой острый глаз не мог бы заметить его на снежной равнине. В снегу оставался неглубокий ровик. По ровику тянулся за ним канат.

Подкравшись к орудию, Сережа скрылся за колесом и накинул петлю. Потом по своему же следу отполз обратно.

И вот наступила веселая, занимательная минута. Грузовик тихо двинулся, натягивая тросс. Пушка слегка развернулась, как бы оглядывая окружность, постояла на месте, словно раздумывая, и вдруг на глазах обалдевших немцев быстро покатилаь в нашу сторону. Сережа был вне себя от восторга. Он хлопал в ладоши, подпрыгивал, хохотал.

— Удирает от немцев!

— В плен сдаваться пришла!

— ... А прихрамываете ты отчего? — спросил Анисим.

— Немцы подстрелили. Возвращался, понимаешь, из разведки... Перешел линию фронта... Вот уж рядом свои... И тут немцы меня заметили, открыли стрельбу. Вдруг как бы кто поленом мне по ноге шаркнул. До своих-то я еле дополз. Отправили меня в госпиталь. Месяц лечился.

Они вошли в село. На черных остовах печей, на каменных столбах, оставшихся от сгоревших построек, лежали пухлые шапки снега.

На месте пожараищ неожиданно, как из-под земли, появлялись люди.

Мальчик этому был очень удивлен и вгляделся прис-

тальнее. Люди накопили землянок и жили в них. Дома сохранились каким-то чудом в той части села, которая находилась за рекой.

На реке стояла колхозная баня. Она осталась невредимой только потому, что стояла в неприметном месте. Они как раз проходили сейчас мимо ее.

— Зайди к Семену Семенычу — повидайся, — сказал старик. — Признаться, он тебя разыскивал, спрашивал всех, но никто не знал, куда ты исчез. И в убитых тебя не было.

— Я и то думаю — зайти. Ну, пока, дядя Анисим. Увидимся.

— Теперь-то увидимся, беда миновала. Катай.

Сережа свернул в сторону и торной тропинкой, протоптанной школьниками, спустился к реке.

Он вошел в колхозную баню, превращенную теперь в школу, и приятное тепло обдало его со всех сторон. Тихо приоткрыв дверь класса, извернувшись боком и, задев вещевым мешком за косяк, вошел. Помещение низкое, тесное. Сережа с болью в сердце вспомнил просторную, светлую школу, сожженную немцами. Семен Семеныч сидел за столом спиной к двери и диктовал:

— Хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне. — Контрольно-повторительная работа, — подумал Сережа, — на перенос слов, это я помню.

Семен Семеныч не заметил и не слышал, как вошел ученик. Сережа окинул взглядом тесный класс. На стене старые, знакомые ему, кем-то сохраненные географические карты и совсем новенькие плакаты. Классной доски не было. Ее заменяла черная железная плита, на которой сейчас один из учеников писал мелом, она краем стучала о стену и тихо постанывала. Ручки застыли в руках учеников, и десятки детских обрадованных, удивленных взоров устремились к двери. Заметив это, Семен Семеныч быстро оглянулся назад и, увидев маленького красноармейца, пристально посмотрел, не сразу узнав его.

Бычков вытянулся по-военному, отдал честь и звонко проговорил:

— Здравствуйте, Семен Семеныч.

— Здравствуй, Бычков. Мы вот давно учимся. Почему ты школу не посещал, где так долго отсутствовал?

— Я по уважительной причине, Семен Семеныч... Я всегда уроки пропускал только по уважительной причине, — твердо проговорил школьник.

Он расстегнул новенькую шинель, сшитую по его росту в госпитале, достал из кармана бережно хранимую бумажку и подал ее учителю.

Семен Семеныч, не торопясь, прочитал ее, рассмотрел штамп и печать, взглянул даже на обратную сторону ее. В классе стояла такая тишина, что слышно было, как дышит немного с хрипотцей Семен Семеныч.

— Да, причина уважительная, — сказал учитель, — сложил бумажку и убрал ее, — можешь приступить к занятиям.

— Я еще маму не видел, Семен Семеныч.

— Так ты только что с дороги? С мамой надо повидаться немедленно. Иди домой! Гм... Дом-то ваш сожжен... Гм... Ребята, у кого живет его мама?

— У Алферовых, — в один голос отозвался класс.

— Вот у Алферовых она... Иди, сейчас же повидайся.

Учитель волновался. Это было заметно по его голосу.

— До свидания, Семен Семеныч, до завтра, — сказал Бычков.

Он ловко сделал „кругом“, с левой ноги шагнул к двери и вышел.

СЕРГЕЙ НИКИТИЧ И КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Сергей Никитич вошел в класс, плотно закрыл дверь и тихо проследовал к столу. Ученики медленно и шумно встали, только один Костя Синицын не поднялся. Старый седой учитель пристально и сурово смотрел на учеников, не разрешая им садиться. Ученики прочитали в его взгляде — „вот из-за него мы все вынуждены стоять и терять время.“

Синицын продолжал сидеть, поглядывая в окно. Ученики на задних партах осторожно, незаметно стали садиться. Костя уже торжествовал: „Прошло, я поставил на своем“, но Сергей Никитич громко и властно произнес:

— Встать! Я не разрешал вам садиться.

Ученики встали. Учитель попрежнему спокойно стоял перед ними, ждал, и взгляд его говорил: „Ваш товарищ не уважает ни вас, ни меня.“ Сосед Кости Синицына тронул своего приятеля за плечо, дескать, встань, наконец, но Костя только отодвинулся, лукаво усмехнулся всему классу, но встретил такие взгляды товарищей, что сразу поднялся. Класс облегченно вздохнул.

— Садитесь, — разрешил Сергей Никитич. — Синицын,

стучать доской нельзя. Запомни!— строго сказал он Косте и после многозначительной паузы задушевно заговорил:

— Сейчас мы займемся географией. Вот за окном мы видим поля, реку, перелески, овраги, холмы, леса... Все это география. Ах, как хороши наши места. Вы любите свою местность? Я тоже очень люблю. Вот так же надо любить географию. Синицын, что ты будешь делать, если заплутаешься в лесу?

— Пойду домой.

— Но ведь ты заплутался.

— Я найду дорогу.

— Стало быть, ты хорошо знаешь свою местность?

— Всю местность знаю.

— Это хорошо. У дома Ивана Горохова лежит камень. Тумбочка за этим камнем высокая или низкая?

— Низкая.

— Неверно. Там никакой тумбочки нет. Стало быть, свою местность ты не знаешь, заплутавшись в лесу, дорогу не найдешь, и товарищи, которые пойдут в лес, доверившись тебе, вместе с тобой пропадут. Садись.

Урок продолжался, становился все более интересным. Сергей Никитич рассказал, как можно отовсюду найти дорогу. Он вытащил из жилетного кармашка компас. Весь класс любовался компасом и узнал, как им пользоваться.

В перемену Сергей Никитич не пошел отдыхать в учительскую. Он стоял у окна класса и смотрел в золотые осенние поля. Костя Синицын на цыпочках подошел к доске и написал: „Слушаться все равно не буду“. Сергей Никитич, не оборачиваясь к нему, сказал:

— Сотри, Синицын. Нехорошо.

„Спиной что ли он видит“,— подумал Костя и пристыженно стер написанное.

Четвертый класс, с которым занимался Сергей Никитич, считался в школе отстающим. За три года в нем сменилось несколько учителей. Последнее время занималась учительница Мая Васильевна. Она слишком старалась развлекать и веселить детей, развивая в них верхоглядство, небрежное отношение к вещам, неуважение к труду. К тому же была безвольна и непоследовательна. Самый плохой ученик класса Костя Синицын, сын председателя колхоза, мальчик избалованный и своенравный, овладел классом. Однажды на экскурсии в лесу он увел весь класс за собой. Мая Васильевна не могла ничего с ним поделать, осталась одна и со слезами возвратилась домой. Потеряв руковод-

ство классом, она растерялась и принялась всячески заискивать перед учеником. Оказывала ему везде и всюду предпочтение. Ставила повышенные отметки. В ответ на это он совершенно забросил учебу и целыми днями бездельничал. Мая Васильевна сочла его отстающим и прикрепила ему для помощи Борю Кустова, лучшего ученика класса.

Боря возвращался домой поздно вечером, и когда отец спрашивал его — почему так поздно, он жалобно отвечал:

— Костя только в шесть часов надумал заниматься, а до этого все шалил.

Всему этому положил конец последний случай. Мая Васильевна забыла наглядные пособия и среди урока побежала за ними в учительскую. Вернулась она в пустой класс. Синицын за это время ушел через окно всех ребят в поле. Дело обсуждалось на педагогическом совете, занимались им в районе. Мая Васильевна уехала в другую школу, четвертый класс взял на себя Сергей Никитич. Своевольный, самолюбивый Костя Синицын очутился лицом к лицу со старым опытным учителем. Костя сегодня подчинился ему, но тут же решил, что это случилось первый и последний раз. Он попрежнему плохо занимался и хотел верховодить, но постепенно начал замечать, что остается без последователей. Шли дни, учитель уверенно повел класс за собой.

Однажды утром Сергей Никитич пришел в класс радостный, веселый. Не доходя до стола, он уже разрешил ученикам сесть, прошелся между рядами парт, довольно потирая руки. Потом остановился у стола и трепетно заговорил:

— Мне сегодня хочется поделиться с вами одной радостью. Я получил вчера письмо от своего бывшего ученика Федора Ивановича Горина. Он помнит меня, благодарит за науку. Он стал орденоносцем. Я гляжу на вас и думаю — кончите вы нашу школу, поступите в другие учебные заведения, а через несколько лет я узнаю — Александр Травин стал командиром, Боря Кустов — известным садоводом, Миша Горбатов — машиноведом, Настя Оконева — руководителем передового звена в колхозе. Они будут теми, кем хотят быть. Свои мечты осуществляет тот, кто хорошо учится, кто много работает. Многие из моих учеников стали знатными людьми. Я могу назвать вам десятки имен. Да вот недалеко ходить — Антон Синицын, отец Кости, работает теперь председателем колхоза... И неплохо работает. Учился он у меня в школе

замечательно. Первым шел. А сын вот, видно, не в него, учится плохо, недисциплинирован... Вот я и поделился с вами своей радостью. Ну, хватит, возьмемся за дело.

Урок прошел живо, ученики ловили каждое слово учителя, но Костя Синицын скучал и косо поглядывал на Сергея Никитича.

Следующий урок начался неладно. Войдя в класс, учитель увидел у своего стола сломанный стул.

— Кто сломал стул? — строго спросил Сергей Никитич.

Класс молчал. Слышно было — где-то за школьным огородам тонко проблеяла овца.

— Тот, кто сломал стул, должен сам сознаться, — внушительно добавил Сергей Никитич.

Молчание.

— „Это Костя после временного отступления и замешательства открывает войну“, — подумал он.

— Садитесь.

Ученики сели.

— Кто сломал стул — это неважно в конце-то концов... Жалко мне стула. Он служил в нашей школе очень долго и имеет свою очень интересную историю. Как-то двенадцать лет тому назад его нечаянно сломал мой бывший ученик, — Сергей Никитич произнес эти слова с особым удовольствием, — Федя, теперь Федор Иванович Горин. Правда, он, не в пример некоторым, сразу тогда признался. Это, говорит, я, Сергей Никитич, повредил его... А Федя Горин, мой тогдашний ученик, сидел как раз на той парте, на которой сидит сейчас Костя Синицын. Как сейчас помню, стоит он передо мною смелый, покрасневшийся: „Я, говорит, его сломал, я его и почию“. Забрал домой его и дня через два принес стул хорошо отремонтированным. Он помнит тот случай до сих пор и в одном из писем спрашивает — жив ли мой стул. Придется ему ответить, что стул больше не существует, мои теперешние ученики не сумели сохранить его.

Костя Синицын сейчас не знал, куда девать себя, он сидел, боясь взглянуть в лицо товарищам.

Окончив свой рассказ, учитель пристально посмотрел на Костю. Печально вздохнул, сложил обломки стула в угол, вытер руки платком и проговорил:

— Ну, ладно, забудем об этом, начнем работу.

После уроков Костя пришел к учителю на квартиру. Сергей Никитич, расположившись уже по-домашнему,

покрутил седые усы, застегнул пиджак на все пуговицы и вышел к ученику.

— Сергей Никитич, — протяжно и виновато заговорил Костя Сеницын. — Это я стул-то... Я его поправлю... Напишите Федору-то Ивановичу, что стул-то, мол, сохранился.

— Я без тебя, Сеницын, знаю, что мне надо ему написать. — Голос Сергея Никитича звучал сурово и обиженно. — Я отца твоего учил, старших братьев твоих учил и тебя выучу, а если же ты совсем не хочешь заниматься, то мы с тобой расстанемся навсегда, потому что ты из школы будешь исключен. Запомни! Вот это хорошо, что ты нашел в себе мужество признать свою вину. И пусть это будет началом твоего исправления. Раз навсегда оставь свои проделки и учись... Хорошо учись! Буду проверять.

Сергей Никитич помолчал минуты две, потом показал на ворот рубашки ученику:

— Пуговицу надо пришить. Иди.

Сергей Никитич подошел к окну.

Осенний день. Солнце низко висело над лесом. По дороге бежала колхозная автомашина, груженная полными мешками. С берез, полукольцом окружавших школу, сыпались листья. Сергей Никитич когда-то в молодости сам сажал эти березы. Они теперь выросли, стали большими, кудрявыми и вот уж который год на его глазах снимают свой летний наряд.

Вышел из школы Костя Сеницын, тихо побрел домой. Он миновал школьный двор, перешел дорогу и пошел низким лугом прямо к деревне. Ветер неистово трепал полу его незастегнутой куртки. На спине его горбилась сумка с книгами, в руках он нес изломанный стул. Учителю почему-то стало жалко этого маленького человечка. Он был чем-то дорог старому педагогу. Сергей Никитич смотрел ему вслед до тех пор, пока мальчик не скрылся в плетнях огородов. Над полями плыла последняя паутина. На дороге лежала тяжелая холодноватая осенняя пыль. За деревней заливисто и лихо звенела молотилка, как будто удалая тройка во весь скок несла по каменистой дороге раздребезженную, несмазанную коляску.

Наступила глубокая темная осень. С полей тянулись длинные телеги со снопами. Высоко в небе прощально курлыкала улетающая в теплые края стая журавлей. Много журавлиных косяков, глядя в окно или стоя на крыльце школы, проводил взглядом Сергей Никитич,

много дождливых холодных осеней пережил он здесь, но все они на эту, нынешнюю, осень не были похожи.

За деревней на дороге засеребрилась длинная коса пыли. Сергей Никитич взгляделся. Впереди шли мужчины с большими мешками за спиной. За ними подвигались, то отставая, то нагоняя их, женщины и дети.

„Опять мои ученики пошли“, — подумал Сергей Никитич.

В первые месяцы войны он каждый раз ходил на деревню провожать мобилизованных, целовал их на прощанье, желал боевых удач, наказывал беспощаднее бить фашистов. А когда начались в школе занятия, провожать стало некогда. Вот и сегодня — уроки кончились, а еще надо часика полтора позаниматься с отстающими ребятами. Учитель помнил всех жителей деревни и мог их узнать даже по походке. Он взгляделся пристальнее, но клубившаяся под ногами пешеходов пыль мешала разглядеть. Вот на пригорке у старого дуба, до которого здесь было принято провожать, все остановилось. Мужчины расцеловали жен, детей, стариков-родителей, поправили мешки за плечами и пошли дальше. Провожажущие долго стояли на пригорке и смотрели им вслед, роняя слезы.

Была в деревне великая страда уборки и расставаний. Мужчины призывного возраста уходили на фронт. Колхозники работали с первых проблесков зари до темна. Да и ночь-то многие работали. В ночных полях, как воспаленно-красные глаза, виднелись огни тракторов, поднимающих землю под зябь. Всю ночь, ни на минуту не смолкая, звенела молотилка. Сергей Никитич видел, что ныне поля пустеют раньше и быстрее, чем в прежние годы. Народ сказал себе — быть крепким, не сгибаться, победить.

Сергей Никитич вернулся в класс. Там сидели за разными партами четыре ученика — три мальчика и одна девочка.

— Немножко займемся ребята. Вчера дома вы уроки не приготовили. Сегодня мы это наверстаем.

Через два дня утром учитель, войдя в класс, увидел исправленный стул. Он внимательно осмотрел его, приподнял и слегка стукнул им об пол. Стул был отремонтирован чисто, тщательно, прочно, но Сергей Никитич не похвалил. Он только сказал ворчливо.

— Вот теперь хоть стулья у нас все будут в исправности.

— Это я сам, Сергей Никитич, — вырвалось у Синицына.

— Что „я сам“?

— Сам починку сделал.

— Вот как... А я думал, что ты только на шалости толковый...

В один из тех дней хмурым осенним утром Сергей Никитич сдержанно поздоровался с учениками, многозначительно помолчал, оглядел всех ребят, как будто очень давно их не видел. Потом заговорил:

— Наступают холода. Будут скоро морозы. Многие из вас проводили отцов и братьев на фронт. Работников в деревне стало меньше. Колхозники нынче работают много, вдвойне против прошлого, но все сделать не успевают. А на зиму хлеб нужен нам, рабочим в городе, бойцам на фронте. Надо помогать государству. Занятий сегодня не будет. Пойдем копать картошку. Одевайтесь, выходите и стройтесь по-двое.

Сергей Никитич одел расхожую тужурку, брезентовый фартук, в котором работал летом у себя на огороде, и вышел к ученикам. Они стояли по-двое в ряд притихшие, озабоченные.

— Марш! Пошли! — громко сказал учитель. Цепочка учеников тянулась холодным неприветливым полем. Впереди шел старый учитель — шел медленно, прямо.

— Синицын! — позвал к себе в поле Сергей Никитич. — Ты должен быть в отца — хорошим организатором. Подбери себе бригаду и руководи... Если стулья так хорошо починять умеешь, то картошку-то копать, я думаю, можешь прекрасно. А другую бригаду подберет себе Кустов, а остаточки со мной пойдут. Вот и будем соревноваться — кто больше сделает.

Вслушав учителя, Костя прошелся взад и вперед, как бы продумывая какое-то важное решение, потом встал перед товарищами и громко спросил:

— Кто в мою бригаду?

К нему подвинулась большая половина класса.

— Но знаете, ребята, как со мной работать, — проговорил он важно, отдельно, подражая отцу. — Я не люблю последние места.

Он отобрал десять учеников, на его взгляд самых важных, и повел их за собой на загон.

На целую неделю были забыты учебники. Каждое утро школьники отправлялись в поле и работали до ранних осенних сумерек. В полдень на короткий час они уходили, потом опять дружно являлись на работу.

Изредка бегали отогреться у костра, пекли картошку

каким-то им одним известным способом, в ямке под костром. Это даже Сергей Никитич видел только впервые. Картошка при этом не пригорала с боков, кожица делалась нежной, тонкой, и хорошо пропеченная мякоть при встряхивании высыпалась из нее кусками, как из мешочка. Ой, вкусна была эта картошка! Дети аппетитно поедали ее, обжигая похолодевшие на осеннем ветру губы. Это были все здоровые и крепкие ребята, сыновья и дочери труженников. Они работали быстро, увлеченно, сноровисто и долго не утомлялись.

Старый Сергей Никитич возвращался домой, еле волоча ноги. А потом, отдохнув и отогревшись, в сумерках выходил на двор за дровами, чтобы приготовить себе ужин, и видел, что его ученики после трудового дня еще играют на улице в „ловички“.

Он с завистью смотрел на них, качал головой и удивлялся:

— Какие крепыши.

— Как мы с тобой не стараемся, Кустов, а бригаду Синицына опередить не можем,— сказал в конце недели Сергей Никитич.

— Так у него же отец председатель колхоза,— с горечью в голосе сказал ученик.

— Так что же это должно значить?

— А то должно значить, Сергей Никитич, что у него опыта больше.

— Ах, вот как... Возможно, возможно... так ты перенимай у него этот опыт, он им поделится с тобой.

В середине следующей недели школьники сели за учебники, сильными, припухшими от холодов руками взялись за карандаши. Сергей Никитич прошелся между рядами парт, склоняясь и вглядываясь:

— А руки все вы, ребята, хорошо вымыли?

— Вымыли, Сергей Никитич.

Он взял и поднес к глазам ручонку одного ученика, другого, третьего...

— А как будто грязца виднеется.

— А это, Сергей Никитич, в ссадины земля въелась — не отмывается.

— Ну, раз земля въелась,— это ничего, здоровей будете. Но отмыть можно и надо отмыть.

В конце недели Сергей Никитич, войдя в класс, долго смотрел в окно. Лужа покрылась льдом. Побелевшая крыша сарая, замерзшая отава.

— Вот морозы пришли, — со вздохом проговорил учитель.

— Зима начинается. Хорошо, что выкопали картошку, а то померзла бы вся. Ни одной, как говорится, в поле картошинки не осталось. Хорошо, приятно на сердце. Затем он резко повернулся к классу и с чувством произнес:

— Я вас поздравляю, мои ученики.

Класс затих: ни одного шороха. Сергей Никитич похлопал себя по карманам, извлек из одного из них бумажку и приподнял ее в руке:

— Вот. Колхоз нам прислал благодарность за хорошую работу.

Учитель с чувством прочитал бумагу и спросил:

— Кто из вас постоярничать мало-малю получше умеет?

— Костя Синицын, — раздалось несколько голосов.

— Опять Синицын... Ну, Синицын, так Синицын. Надо сделать хорошую рамочку. Мы эту бумажку в рамочку вставим и устроим на видном месте. На память!

Шли уроки, проходили дни. Сергей Никитич как бы забыл о Косте, только иногда как будто мельком взглядывал на него и замечал чуть ли не просящий взгляд мальчика, который как бы говорил: „Сергей Никитич, спросите меня... Я знаю“.

Учитель, наконец, вызвал Синицына к доске. Костя отвечал блестяще. Сергей Никитич помолчал, подумал: „способный паренек, будет хорошо учиться.“ Затем сказал спокойно, ласково:

— Иди на место.

На другой день еще спросил, через два дня вновь вызвал к доске. Синицын отвечал хорошо. Сергей Никитич остался доволен. Он сказал тихо, как бы между прочим, но так, что у Кости взвыгло сердце:

— Синицын, можешь идти на место. Я напишу Федору Ивановичу, что его стул у нас в школе в полной сохранности.

Выпал снег. Пришла суровая и долгая зима, разбушевались метели. Снегу выпало столько, что за сугробами не видно было деревни. Сугробы подходили вплотную к крышам, и местность казалась однообразной, волнистой белой пеленой, и только утром и вечером дым из труб обозначал место деревни. Ученики приходили в школу на лыжах.

Перед вечером, выйдя на крыльцо подышать свежим воздухом, Сергей Никитич видел вдали черное пятно. Это возвращался из районного городка почтальон Сипатрыч.

Его черная кобыла „Индейка“ то пропадала за сугробом, то взбиралась высоко на сугроб и казалась галкой, перелетающей по дороге с места на место в поисках зерен. Сипатрыч подъезжал к школе, отгибал высокий воротник овчинного тулупа, открывал озябшими негнуущимися руками кожаную сумку и говорил:

— Пишут, не забывают тебя сыновья-то. Много у тебя их на фронте, ох, много. На вот, почитай вечерком данапиши им, всем напиши, чтобы хорошо воевали...

Бывшие ученики часто писали старому учителю. Они почему-то все припоминали его и слали ласковые, полные волнующей сердечной теплоты письма. Они находились на фронте и в резервных частях, стали артиллеристами, минометчиками, зенитчиками, танкистами, связистами... Все, что преподавал Сергей Никитич в сельской школе, теперь им очень кстати пригодилось. Арифметику, понятие о вселенной, основные физические законы — все пришлось припомнить и крепко затвердить. А Сергей Никитич в свое время в их лохматые головенки знания вкладывал прочно, так что бойцам пользоваться ими было легко, и они теперь один за другим, как бы сговорившись, вспоминали своего учителя и писали ему о фронтовой жизни или боевой учебе.

Дело дошло до того, что ворона „Индейка“ Сипатрыча сама поворачивала к школе и останавливалась у ворот.

— Вишь ты — встала, — с удивлением восклицал Сипатрыч, — знает, видно, хитрая, что тебе, Сергей Никитич, опять есть письмо.

Вечерами в школе было тихо-тихо... Только слышались тяжелые шаги школьного сторожа Короля, изредка раздавался звяк кочерги да задорное потрескивание еловых поленьев. Сторож, по прозвищу Король, служил в этой школе нивесть сколько времени. Когда Сергей Никитич приехал сюда учительствовать, Король служил уже здесь, был немолодым отставным унтером, но на нем еще сохранился унтер-офицерский мундир и фуражка.

Сторож намного старше Сергея Никитича, мундир и фуражка давным давно износились и истлели, но Король выглядит еще молодцом — прям, силен и неизменно здоров. Мужик он хозяйственный, живет сыто и порядочно. На школьном дворе у него огород и своя сараюшка. В сараюшке сено, куры и коза. В школе он наблюдает замечательную чистоту, а в свободные часы занимается мелкой поделкой: чинит тазы, ведра, кастрюли, сапоги, столы,

шкафы, кровати... Он умеет делать все, это большой и вечно невозмутимый человек.

— Вот горшки починять не могу, не выучился, — усме-
хается Король, — а новые все-таки делать умею.

Он каждый день читал военные сводки. Прочитав, надолго задумывался. Потом говорил:

— Эх, ему, гадючему разбойнику, теперь бы еще вдарить в хвост и с флангу. Надоел матушке вселенной германец-то... Все войны он зачинает...

Вечером учитель часто приходил в класс. Красивый седобородый Король сидел у печки на низенькой скамеечке, смотрел на огонь и о чем-то думал. Заслышав знакомые шаги, Король вытаскивал из угла другую маленькую скамеечку и ставил для учителя. Сергей Никитич любил зимними вечерами посидеть у огонька, и для него Король сделал такую же удобную скамеечку, как и для себя. Они усаживались рядом, и Сергей Никитич начинал разговор.

— Помнишь, Королев, у нас учился Вася Севастьянов — белоголовый был такой, голубоглазый, можжевелевые ягоды любил жевать... Всегда у него в кармане ягоды... Бабушка у него квас на можжевелевых ягодах хорошо делала. Замечательный был квас, я не раз пробовал. Школьный сторож, как и учитель, помнил всех учеников, бесконечной вереницей прошедших школу за десятки лет их работы.

— Васютку Севастьянова как не помнить... Он не из шалунов был, нет... Придет в школу и ноги о половики вытрет. Я его все в пример ставил — вот, говорю, Севастьянов не любит грязь таскать. Смирный был... Его толкнут невзначай, а он обернется этак благородно и скажет с упреком: „Ты не толкайся... Поглядывай“.

— Хороший был ученик... От него пахло всегда сухим можжевелем. Это мне запомнилось. Так вот — на фронте. Вася Севастьянов истребил из своей винтовки восемьдесят трех немцев.

— Многовато что-то, — отзывается Король. — Я сам на Японской войне сражался... Были у нас хорошие стрелки, но чтобы столько набили — не слышал...

— Так ведь он снайпер, сверхметкий стрелок... Винтовка у него с оптическим прицелом — далеко и хорошо видно... Лежит он целый день в скрытом месте и поглядывает. Как высунулса немец, так он раз, тот и готов... Вот и натюкал восемь десятков. Пока письмо-то шло, он, наверное, добавил. Теперь уж, поди, к сотне подвинулось...

— Раз с особым прицелом, тогда возможно, не возражаю... В Японскую этого не было.

— А помнишь, Королев, Федю Коровина... Яркорыжий был, высокий, тоненький... Он мне напоминал всегда молодую осинку во время листопада. Учение давалось ему, как говорится, на лету... И потому уроки часто не готовил.

— Этот юркий был, беспокойный, сердитый, — вспоминает Королев. — Часто приходилось стращать его — шалил. Постращаешь его, — он осердится. Принесет в тряпочке клопов и пустит мне в койку. Вдруг ночью чувствую — кусают. Откуда клопы взялись при моей-то чистоте? Так уж и знаю — это Коровин на меня осердился.

— Так вот пишут, что Федя Коровин во время разведки четырех немцев заколол.

— С этого станется... Федор спуску не даст.

— Мишу Калачева тоже, конечно, помнишь прекрасно?

— Мишутку-то Калачева, да господи... Как сейчас вот вижу... Я его еще все медвежонком звал. Маленький, крепкий такой, толстокоренный... Бывало придет в школу и прямо ко мне — поговорить. Как большой разговаривал. Расскажет о погоде, о том, что видел на улице. И все это не торопясь, умненько. А в школу, бывало, явится первым. Никого еще нет, дверь-то заперта, а он является. Мишуха пришел, надо школу открывать.

— Да, он коренастый был мальчик, этаким квадратный... Понимал все медленно, не сразу, но если уж что поймет, то навсегда. Так вот Калачев с резервной частью недавно прибыл на фронт. А он бронебойщик, стрелок из противотанкового ружья... Немецких танков на их участке еще не появлялось. Но он нашел своему ружью применение, сбил немецкий трехмоторный грузовой самолет.

— Это что за ружье такое — танку бьет. Поглядеть на него было бы интересно, — говорит сторож.

— Тут в газете на снимке его видно. Длинное такое ружье, ствол массивный, и видом оно похоже на старинную пицаль.

Сторож шевелит железной кочергой дрова в печке. Они разгораются ярче. В отсвете пламени виден первый ряд парт, большая карта Европы на стене и бумажка — благодарность колхоза — в красной лаковой рамочке. У печки становится жарко. Учитель и сторож отодвигают скамеечки, усаживаются подальше от огня и некоторое время молчат.

— А Степу Дровянникова... — начинает опять Сергей Никитич.

— Как не помнить Степу Дровянникова... Он ведь от нас дальше учиться пошел, — говорит Король.

— Первый ученик у меня был. Я ему советовал продолжать. Пошел дальше... Институт окончил. Теперь комиссар полка...

— Вот ведь как махнул, — ахает сторож.

— Да, несомненно способный человек, несомненно...

— А Сему Окунева.. Помнишь Окунева?

Ясное дело, Король помнит и Окунева. Это тот, который в лапотках в школу ходил. Аккуратненькие, новенькие лапотки всегда были на нем. Дедушка их ему плел. Родителей у Семы не было. Жил у дедушки с бабушкой. Жили бедновато, но опрятно и дружно. Так где же теперь Сема Окунев?

— Командир минометной роты.

— Это что же за орудие — миномет? Раньше в войсках такого не было.

Сергей Никитич долго объясняет устройство миномета и его действие, потом называет новое имя кого-нибудь из бывших учеников, и разговор опять оживляется. Так они сидят, два старика, и любовно вспоминают своих воспитанников, защищающих родину. Зимние дни, заполненные занятиями и заботами, проходили быстро.

Сергей Никитич всегда старался любить всех учеников одинаково, но Костя Синецын нынче невольно стал его любимцем. Это был мальчик на редкость толковый, энергичный и способный. Зимой он успешно собирал подарки раненым бойцам, учебники, вещи школьникам Калининской области, в избах колхозников читал газеты, шефствовал над жеребенком — трехлетком „Молодчиком“. В разговорах с товарищами он так часто упоминал своего Молодчика, что его прозвали — Костя Молодчик.

Зима тянулась долго, но учителю и школьникам казалось — прошла быстро. Однажды школьники пришли на занятия и увидели свой класс осыянным, весенним. Сторож выставил зимние рамы. Одно окно было открыто. Учитель пришел в класс в черной косоворотке, вышитой васильками, только что подстриженный мастером на все руки Королем, весь какой-то свежий и веселый.

Из-под парт выглядывали босые, крепкие, ядреные ноги школьников.

— Вы уже босиком прибежали?.. Обрадовались. Ниче-

го... Хорошо. Ходите тверже голой ногой по земле, чувствуйте ее силу и благодать каждую минуту, любите ее, и проживете долго, будете здоровыми и жизнерадостными.

Сергей Никитич поглядел в открытое окно и с чувством продолжал:

— „Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит“... Как это просто, хорошо и точно, ребятишки, сказано. Весна у нас тихая, скромная... У нас травка, солнышко, у нас гнездится серенькая стремительная птичка — ласточка. Она всегда напоминает мне сердце русского человека. Она то сидит смирно и незаметно, то молнией рванется к делу, и нет птички расторопнее и устремленнее... Любите свою родину, ребята!.. Смотрите, как ласковы наши луга, наши поля. От снега освободились они, дышать начали, а вот раздвигаются и такой урожаище поднимут...

Сергей Никитич обернулся к ученикам:

— За Сафоновым двором — старая яблоня, заброшенный колодец и еще что есть, Синицын?

Костя быстро, но бесшумно встал за партой.

— Две котловины, заваленные навозом, и поросший бурьяном пустырь.

— Две котловины и дальше пустырь. Правильно. И больше ничего. Садись. Ты лучше стал знать географию. Давайте, ребята, вскопаем этот заброшенный участок в фонд обороны. Помните, как хватко мы работали осенью. Мы ведь здорово умеем работать. В котловинах, куда из года в год сваливали уличный сор и навоз, мы посадим табак. Тут он вырастет, как молодой лес. Обрывая его цветы, вы будете подниматься на дыбки. Вот какой табак вырастет! На берегах этих котловин на солнечном припеке мы огромными кругами насадим помидор. А дальше у нас по всему пустырю темной тучей, упавшей на землю, картофель, картофель... Из старого колодца мы будем поливать табак и помидоры, поливать редко, но много, досыта.

Бойцы на фронте после трудовых боев присядут отдохнуть, закурат нашей махорки и вспомнят работающих ребят Левашевской школы. Помидоры вырастут у нас крупные, нежные. Их мы пошлем в наш подшефный госпиталь. Картофель будет кипеть, вариться в котлах красноармейских кухонь. Так мы будем воевать, сражаться, ребята. В обработке этого участка примет участие наш старый и уважаемый друг, технический работник това-

рищ Королев. У него надо учиться нам, дети. Он умеет делать все, необходимое для человека. У него золотые руки и крепкая голова. Вот такие же руки должны быть и у вас, и тогда вам в жизни будет легко. Уважайте его, перенимайте у него всякое дело. Это он подал мне мысль насчет участка. Иду, говорит, гляжу — земля зря валяется, аж сердце заболело. Не могу, говорит, видеть забытую землю. Вскопаем ее на оборону. Я сам, говорит, в этом деле передом пойду. Раз уж сам Королев берется, то урожай на этом участке будет невиданный. Он не любит плохо делать. Он любит отличиться. На воле теплынь. Пора. Сегодня вечером выйдем на участок. Выйдем все — у кого есть время и желание. Поднимите руки, кто хочет выйти сегодня на работу.

Тридцать шесть рук вскинулись вверх.

И вечером ученики вышли на работу. Верховодил ими Королев. Школьники дивились силе, трудовой сноровке и упорству этого старика. Он с помощью ребят так разделал котловны, что они стали похожи на расписные чаши, наполненные длинными пряниками.

Сергей Никитич так и сказал:

— Не грядки, а пряники, есть хочется.

Наверху котловины он разбил грядки кольцами.

— Кольца Сатурна, — пошутил Сергей Никитич.

Он работал увлеченно, не уступая Королеву.

— А под картошку надо землю разделать так, чтобы уродилась сам двадцать, земля тут отдохнула, она уродит, — сказал Королев. Старика охватило подлинное трудовое вдохновение, с ним интересно было работать.

За четыре дня до конца учебного года Костя Синицын не явился в класс. Сергея Никитича это как-то больно кольнуло.

— Что — Синицын заболел? — спросил он.

Никто не знал. Его никто сегодня не видел. Ученики начали строить догадки, но Сергей Никитич прервал их.

— Ладно, начнем занятия. Я сам выясню...

После полудня, только Сергей Никитич собрался сходить на дом к Синицыным, явился к нему Костя.

— Почему ты сегодня на занятия не явился? — встретил его учитель.

— А вот я, Сергей Никитич, и пришел сказать почему... Папу в армию провожал. Сегодня я чуть свет ушел удить рыбу, вернулся, а папа, совсем неожиданно, собирается уезжать. Я ему говорю, что наловил много рыбы,

клев был хороший, а ему слушать меня некогда. Тогда я скорей начистил и к маме: „Поджарь!“. Поджарь, говорю, папа поест моей рыбы. Она поджарила. — „Папа, поешь моей рыбы“. Он обрадовался: „Ах, ты хочешь угостить меня на прощанье рыбой. Давай“. Он поел моей рыбы и пошел.

Заметно — мальчику жаль было отца. Из его жизни ушло что-то дорогое, большое. Ему, видимо, было очень приятно, что он угостил отца на прощанье, и Костя с особенным удовольствием произносил „моей рыбы“. В этом сквозила и гордость, что вот уже сын-то какой стал, большой вырос, наловил рыбы и угостил отца.

Через день Костя пришел к учителю посоветоваться.

— Сергей Никитич, — заговорил он озабоченно, — я хочу в поле выезжать. Мне на Молодчике разрешают работать. Он у меня послушный. Не подведет. Мы справимся.

— Молод ты еще, Костя...

Следовало бы сказать мал, но учитель пощадил самолюбие ученика и сказал „молод“.

— Так ведь работников-то у нас в семье, Сергей Никитич, кроме меня никого нет. Я старший. Маме скоро надо в больницу идти.

— Попробуй, если надеешься на Молодчика. Через два дня испытания. Приготовься и приходи сдавать. Я надеюсь — ты выдержишь.

Через два дня он приходил держать экзамен. Выдержал успешно и совсем исчез из глаз Сергея Никитича. Прошла неделя. Учителю захотелось повидать своего ученика, и он пошел по полям. Пахари и кони приустиали. Время подходило к обеду. Учитель вышел на дорогу. По дороге шли девушки-подростки. Они смотрели в сторону и говорили:

— Молодчик-то как работает — любо дорого смотреть. Пашет, как пишет...

Появилась женщина — бригадир, Полина Евсеевна. Подъехал к дороге Костя.

— Тетя Поля, дай шагалки смерять, сколько у меня сделано до обеда.

Он взял у нее деревянный циркуль, сделанный для обмера земли, и быстро прикинул: сорок соток. А по норме на молодой лошади — пятьдесят. Ого.

— Я сегодня, тетя Поля, до вечера почти две нормы выполняю.

— Ну, ну, старайся, — сказала она и пошла дальше.
К мальчику подошел учитель:

— Идет дело на лад, Константин?

— Идет, Сергей Никитич.

— Ну, ну, старайся, — сказал также учитель.

Костя повел новую борозду. Лошадь шла прямо, плуг резал и отваливал землю безукоризненно. Сергей Никитич полюбовался и пошел прочь.

— Природный пахарь, — мелькнуло у него в мыслях.

Через час Костя явился домой на обед. Мать ждала его. Большая плошка, из которой ел отец, стояла в красном углу стола. Костя сел на то место, где раньше сидел отец. В плошке дымилась молочная каша. Она перестоялась немножко, погустела, но Костя, как и отец, любил такую. С устатку он умял всю плошку каши и не почувствовал тяжести в желудке. Но сыт был вполне. Затем он пошел отдохнуть. Лег в летней горенке и перед сном стал думать. Мысли пришли в голову маленькие, но делльные.

„Если я каждый день буду перевыполнять норму, то Молодчик сбавит в теле или нет? Надо самому следить, как его кормят“, — решил Костя. Потом мысль перекинулась на другое. Прошли дожди, сильно поднялась трава, на пастбище кормно. „Барыня должна прибавить удой, — думал он про свою корову. — Горшка три прибавит. Тогда ватрушки можно печь“. Ему хотелось ватрушек. И тут он уснул.

Однажды вечером Сергею Никитичу пришлось зайти на колхозную конюшню. Пахари вернулись с поля и распрягали лошадей. Костя заводил уже своего Молодчика в стойло.

— Константин Петрович, — послышался голос древнего старика ковюха. — Ты чистил сегодня Молодчика?

— Да, Северьяныч. Да.

— Мне почистить еще?

— Нет, я завтра сам его опять почищу.

Увидев учителя, Костя, смущенный, подошел к нему, поздоровался и сказал, кивнув на старика:

— С тех пор, как я стал норму перевыполнять, Константином Петровичем меня зовут... Да и другие тоже начинают.

— Уважением, значит, начинаешь пользоваться. Это, брат, делает тебе честь.

Сергей Никитич в этот вечер провел с колхозниками

беседу, возвращался поздно и по дороге заглянул в окно дома Сеницыных.

На столе горела семилинейка. Огонек был экономно привернут. Костя сидел над листком бумаги и что-то писал. Учитель поглядел и тихо на дыпочках отошел от окна, чтобы шорохом не отвлечь мальчика от дела. Костя писал отцу письмо.

— Уезжая, ты мне ничего не сказал, но я вижу, что у нас работников в семье — раз-два и обчелся: я да мама. Я знаю, что маме скоро идти в больницу, а потом мы отдадим маленького в ясли, и мама будет работать в поле, и мы проживем зажиточно. Я встал за плуг, работаю на своем подшефном Молодчике, норму перевыполняем, весенний сев завершили почти в срок. В поле за Озаровским прогоном я вспахал больше трех гектаров. Каждый день бригадир тетя Поля записывает трудодни, и я слежу — правильно ли подсчитано и записано. Танюшка хоть и старше меня на год, но девочка и занимается по домашнему обиходу, но скоро будет на прополке работать, потом сено сушить и сгребать, потом еще разная подсобная работа ей найдется. Она вся в нас, Сеницыных, ловкая, у нее всякое дело так и горит в руках, и она покажет себя, говорит, не отстану от брата. Хоть тебя теперь, папа, и нет на посту председателя, но мы все, колхозники, стараемся удержать колхоз на твоём уровне. И удержим. Так все колхозники в один голос говорят“.

За окном стояла предельная полевая тишина, не нарушаемая ни единым шорохом. Деревня спала крепким сном. Ночные сторожа таились где-то в безмолвии деревни, охраняя ее богатое добро и покой.

Коротка весенняя ночь.

Кончай, Костя, письмо, клади его в конверт, гаси семилинейку, ложись спать. Тебе надо отдохнуть до утра.

Скоро рассвет. Колхозники рано примутся за работу.

Июль 1942 г.

НАСЛЕДСТВО

I

В даль веков поглядишь —
Перед взором пройдет старина:
Богатырская Русь,
Боевая мужицкая сила;
Тяжкий меч и копые
На врагов поднимала страна,
На просторных полях
Чужеземную нечисть косила.

Золотые страницы
В историю нашей земли
Для потомков далеких
Вписали отважные деды:
Нежеланные гости
Бесславную гибель нашли,
Ни обманом, ни силой
Они не добились победы.

Наших дней небеса
Полыхают свинцовой грозой:
Топчет землю родную
Насильник со свастикой черной.
Но не сломлен народ —
Сохранил он в душе молодой
Славных дедов наследство —
Отвагу и дух непокорный.
Их горячая кровь
Льется в жилах советских людей,
Сердце пылкое их
Не остыло в груди гражданина;
Эти силы узнала,

Изведала шкурой своей
Стая подлых громил,
Налетевшая к нам из Берлина.

Нет, не звать нас рабами
Немецким баронам вовек.
Наше сердце не дрогнет в борьбе,
Наши выстрелы метки,
Наша родина в битву идет,
Как один человек,
Как за вольность свою
Воевали великие предки.

II

Сотни лет стоял на страже
Старый русский богатырь,
От беды, от злобы вражьей.
Охранял родную ширь.

Он в боях не ведал страха,
Он не кланялся врагам;
Старый меч гулял с размаху
По злодейским головам.

С этой хваткой молодецкой
На коварного врага
Вышел воин наш советский,
Славной родины слуга.

По полям, по горным кручам,
На воде и под водой
Палача с клеймом паучьим
Губит витязь молодой.

В облаках раскинет птицей
Краснозвездных два крыла:
Платит ворогу сторицей
За разбойничьи дела.

Не владеть фашистской своре
Нашей сильною страной,
Как в обратный путь от моря
Не бежать струе речной.

1 МАЯ 1942 ГОДА

И ветер приветлив, и небо такое,
Как было минувшей весной;
И город фабричный над тихой рекою
Охвачен волной золотой.

Весна улыбаться готова любому,
И взгляд ее лаской богат.
Но сердце людское стучит по-иному,
И мысли на запад легят.

На западе бьются отважные роты
За вольное наше житье:
Отметим, товарищ, ударной работой
Мы Первое Мая свое.

Работай на фабрике, дома и в поле
На полную мощность руки:
Оружье готовь для последнего боя
И ткани добротные тки.

Зерном полновесным, отборным и чистым,
Все поле до края засеи,
По свастике черной, по наглым фашистам
Работой без промаха бей.

И метры полотен, и колос тяжелый
Вольются в народную месть:
За гибель детей, за спаленные села,
За слезы, которых не счесть.

Мы ясное небо увидим, товарищ,
И праздничный отдых вернем;
На месте, где стелется пепел пожарищ,
Мы выстроим солнечный дом.

Отметим сегодня ударной работой
Мы Первое Мая свое;
Пушай, не смолкая, гремят пулеметы
За вольное наше житье.

К ПОБЕДЕ

*(Речь на втором антифашистском митинге молодежи города
Иванова 22 июня 1942 года)*

Товарищи! Сегодня минул год
Жесточких битв с немецкою ордою.
Он мирно жил — свободный наш народ —
Под сталинской счастливою звездою.

Он не хотел войны. Но пробил час —
Сгустились тучи над страной великой:
Палач фашистский ринулся на нас,
Оружием бряцая в злобе дикой.

Разбоями его отмечен путь,
Каких века история не знала.
„Молниеносно“ думал он шагнуть
Через Москву до самого Урала.

Мы встретили непрошенных гостей,
Все, как один, мы за свободу встали;
От подмосковных солнечных полей
Мы путь врагам обратный указали.

Мы гоним их с земли своей родной,
Мы каждый миг для них могилы роим.
Отчизна наша — лагерь боевой,
Где нет числа отважным и героям.

Где нет покорных, где горят сердца,
Где за трудом не складывают руки,
Где месть врагам куется до конца
За дни страданий, за тоску разлуки.

На первомайский сталинский приказ
И фронт, и тыл ответили, как нужно:
Там — по врагу вернее целить глаз,
Здесь — труд кипит в соревнованьи дружном.

К победе воля, как скала, крепка,
Ни перед чем не гнется эта воля:
Она — в движении ткацкого станка,
Она — в работе на колхозном поле.

Она в делах и помыслах живет,
Родимый край до края полон ею,
Она на подвиг молодость зовет,
Готова гибель наглому злодею.

Сестра, подруга, патриотка - мать
В один поток вливают гневный голос:
Земли советской немцу не топтать,
Ему не взять возвращенный нами колос.

Товарищи! Мы в мире не одни —
Друзья свободы бьются рядом с нами...
Желанные наступят скоро дни,
Победы дни, они не за горами.

Мы знаем — время с нами в шаг идет,
Неумолимо пишет приговоры.
И будет наш второй военный год
Последним годом для немецкой своры.

Над стаей псов закружит воронье:
Врагу не ждать конца себе иного...
Вперед, друзья! За счастье свое,
За родину, за Сталина родного!

ИЗ ЛАТВИЙСКИХ ПОЭТОВ

Я. Судрабкалнис

ЧАЙКА ПРИЗЫВАЕТ БУРЮ

Где чайка кричит над балтийской водой,
Где реки латвийские пеной сверкают,
Туда из советской страны молодой
Сердца наши братский привет посылают.

В лучах первомайских шагают полки,
Сегодня их время зовет боевое;
Падет ли товарищ от вражьей руки —
На смену отважному ринутся двое.

Вы, юноши, полные волей к борьбе,
Вы, сестры любимые с ласковым взглядом, —
Вы яростный гнев воспитали в себе,
Чтоб землю родную отстаивать рядом.

О, чайка, подруга свободных ветров,
Ты к мести зовешь над кровавой Двиною,
Ты кличешь грозу на заклятых врагов,
Что топчут отчизну поганой пятою.

Дни новые близко, расплата идет:
Носителей свастики свергнем навеки,
И Латвия воздухом вольным вздохнет,
Засмотрится небо в зеркальные реки.

Нет! Жалоб твоих не услышит страна.
Ты бурю приветствуешь, чайка родная,
Ты хочешь, чтоб мир озарился сполна
Мятежным, рубиновым пламенем мая.

Перевел с латвийского А. Благов.

ВСТРЕЧИ

(Из записок военного корреспондента)

1. НЕУНЫВАЮЩИЙ ИВАН ПОТАПОВ

Мне вспоминается знойный июль 1941 года. Опаленные степи правобережной Украины. Тревожные ночи, наполненные шумом стрельбы. Отстаивая каждый вершок земли, наша армия двигалась тогда на восток.

Как-то ночью возле городка Проскурова полковая разведка столкнулась с отрядом немецких мотоциклистов, потрепала его, заставила отступить и захватила четыре машины. Утром мы встретили одного из участников ночной схватки. Боец сидел в тени, на опушке рощи, чистил свою винтовку и вполголоса напевал:

Не грусти, Маша,
Улыбнись, Маша,
У тебя, Маша,
Глаза синие...

Он был маленький, широкоплечий. Смуглое лицо его дышало мальчишеским задором и свежестью. Рядом на раскинутой плащ-палатке лежали части разобранного затвора. Лоснящиеся от ружейного масла руки разведчика работали быстро и ловко.

— Неунывающий Иван Потапов, — так рекомендовал мне его командир роты.

Командир рассказал о том, что до войны за Потаповым водились кое-какие грешки по части дисциплины, но теперь парень исправляется и во вчерашнем бою показал себя молодцом...

Потом мы встретились с Потаповым на Днепре — Триполье. Он был все таким же, неунывающим, и напевал

все ту же песенку о Маше с синими глазами. Он шел по улице, окруженный шумной толпой ребятишек. Крестьянские дети запросто называли его Ваней, а он вытаскивал из карманов какие-то коробочки, стреляные гильзы и одаривал этим добром детвору. И сам среди ребятишек казался подростком, — только бы в козны играть!..

Попрежнему Потапов служил в разведке. Теперь уже старшим разведчиком. Каждую ночь, а порою и днем, шарил по немецким тылам, выслеживая и разгадывая маневры противника. Это он перехватил приказ немецкого командования и открыл перед командиром полка, товарищем Симоненко, все планы фашистов. После этого под Трипольем Симоненко разбил дивизию немцев.

Он ходил по украинским стежкам-дорожкам так, словно родился и вырос в этих местах, хотя мы-то знали, что родом Потапов откуда-то с Волги.

И вот через несколько месяцев, в Донбассе, приехав в одну дивизию, я встретил на улице села разведчиков. Были сумерки. Падал снежок. Разведчики в белых халатах с капюшонами, похожие на бедуинов со страниц школьной хрестоматии, шли гуськом по узкой тропинке. Их вел низенький командир, ступавший легким уверенным шагом. И вдруг до моего слуха долетела песенка вполголоса:

...У тебя, Маша,
Глаза синие...

— Потапов, — неуверенно окликнул я.

— Точно, — ответил он.

Мы поздоровались. Но поговорить в этот раз нам не пришлось. Он торопился на дело и вместе с другими разведчиками ушел по огородам туда, где чернели сухие стебли подсолнухов. И там, в сумерках, пропали, растаяли их фигуры в белых халатах.

Он уже командир. Все также шарит в тылу у немцев. Организует стремительные налеты, засады. Сто раз Потапов был в очень опасных делах. Бессчетно глядел в глаза смерти, но выходил живым и здоровым, неунывающим, бодрым, со своею широкой улыбкой и наивной песенкой.

Опять в окружающих поселках появились у него кумовья и сватья, и опять знакомы ему все дорожки и стежки.

Мы снова встретились с ним через несколько дней, когда дивизия продвинулась вперед, на запад. Поговорили. Вспомнили Проскуров, Триполье, живых и мертвых товарищей. И на прощанье неунывающий Иван Потапов сказал:

— Ну, что же, товарищ, — до новой встречи на Днепре и там, за Днепром...

И я верю, что мы еще встретимся.

2. ДЕВУШКА ПЛАКАЛА

Вьюжной февральской ночью на улице прифронтового села мы встретили девушку в простой красноармейской шинели. Она стояла возле саней, запряженных парой усталых кляч, и горько плакала.

— Что с вами, товарищ? — спросили мы у нее.

— Ничего, — ответила она, еще всхлипывая. И, крикнув кому-то: „Подождите здесь трошки“, — ушла прочь.

К саням подошел возница, красноармеец, и рассказал, что они везут раненых с передовой. До госпиталя осталось еще километров восемь, но дело ночное, лошади заморены, надо переночевать. К тому же раненым требуется сделать перевязку. Но, что вот он заходил уже в несколько хат, и нигде нет места. Всюду народ — бойцы...

Утром мы снова встретили эту девушку. Она уже улыбалась. Из-под серой армейской шапки у нее выбивались тоненькие смешные косички с зелеными ленточками. И несмотря на то, что была одета в чистую шинель, она скорее походила на школьницу или на молоденькую вожатую пионерского отряда.

Мы узнали, что ночью она разыскала в селе начальника политотдела стоявшей здесь воинской части и вместе с ним ходила по хатам, пока не пристроила на ночлег всех раненых. Потом перевязывала их. Она не спала всю ночь. Да, оказывается, и прошлую ночь не спала, так как дежурила в приемнике санитарного батальона. А днем была в бою и из-под огня вынесла четырнадцать раненых.

— Вам, может быть, вчера показалось, что я плакала. Это вам просто показалось, — наивно уверяла она. И мы не стали ей возражать.

Она уехала со своими ранеными. Эта девушка, не дрогнувшая в бою под пулями и плакавшая, как ребенок,



„Встреча“. Картина ивановского художника Колочова Н. Т.

ночью в селе, в семи километрах от передовых позиций. К сожалению, я не знаю даже ее фамилии. Знаю лишь, что зовут ее Таней. А было это в селе Богородичном, в холодную февральскую ночь.

3. КАК УМИРАЛ МОРЯК

Ранним утром мы приехали в деревню, где стояла энская стрелковая часть. Там в одной из хат, на прикрытом соломой полу, умирал боец Ковалев.

Моряк из одесского отряда береговой обороны, он вместе со своими товарищами сражался в рядах пехотинцев, но в душе остался моряком и даже возил в вещевом мешке свою бескозырку.

Прошлой ночью Ковалев с тремя бойцами ходил в разведку. Они сделали все, что было нужно, и уже когда возвращались назад, случайно обнаружили тщательно замаскированный окоп немецкого наблюдательного пункта.

Оставив товарищей в укрытии, метрах в семидесяти, Ковалев один пополз к окопу. Там сидели два немца. Он бросился на них и заколол штыком. В это время затрещал полевой телефон, установленный в окопе. Ковалев снял трубку. Какое-то немецкое начальство о чем-то сердито спрашивало у своих наблюдателей.

— Брось мне вола крутить! — закричал в трубку Ковалев. — Тикай, гад, а то шкуру спущу. Матросы пришли вас бить.

Вероятно ему не следовало обнаруживать себя. Но у моряка накипело на сердце. Он не удержался и продолжал отчитывать немцев по их же телефону.

Не прошло и трех минут, как фашисты открыли по окопу огонь. Ковалева тяжело ранило. Товарищи вынесли его из-под огня, но он потерял очень много крови и утром умирал на соломе, в крестьянской хате.

Придя в сознание, он попросил, чтобы ему принесли его бескозырку и положили на грудь...

Рядом с Ковалевым печально сидел его друг, тоже моряк, Алеша.

— Не журись, — говорил ему раненый. — Умирать так уж с музыкой. Отомсти Гитлеру за смерть моряка и за нашу Одессу...

Потом он затих и вдруг перед самой кончиной прерывистым хриплым шопотом запел:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали...

Взгляд его потухающих глаз был устремлен куда-то в обгрызанный снарядом угол хатенки, а на губах блуждала улыбка. Может быть в эти последние минуты перед смертью он и в самом деле видел широкое море, солнечный берег Одессы и волны с белыми гребешками пены...

Напрасно старушка.. ждет сына.. домой...
Ей, скажут... Она зарыдает...

И мы стояли вокруг его холодеющего тела, и слезы текли у нас по щекам.

4. СТАРШИНА ЛУКАЧ

А теперь я хочу рассказать о махорке и об одном старшине по фамилии Лукач. Некурящие может быть и не поймут этого, но тем, кто испытывал страстное желание покурить, когда нет в карманах ни крошки табаку, тем станет понятно, почему старшина Лукач решил рискнуть жизнью...

Взвод пулеметчиков занимал позицию на правом фланге обороняющегося батальона. Бойцы оборудовали крепкий блиндаж и вели оттуда огонь по окопам противника. Немцы в свою очередь обстреливали участок, занимаемый взводом, так что нельзя было высунуть головы. Ночью они атаковали пулеметчиков, но безуспешно. С утра опять началась перестрелка.

Бойцы были обеспечены всем необходимым, чтобы стойко удерживать свои позиции. У них в избытке хватало патронов, продовольствия, воды. Не было только махорки. То ли они не успели получить ее перед тем как пошли сюда, то ли еще почему, но махорки не было. А как на грех во взводе собрались все курящие.

И вот старшина Лукач, рослый, широкий в кости, мало разговорчивый, но очень решительный парень, вызвался принести пулеметчикам табаку.

— Подождать темноты, — сказал командир роты.

— Как-нибудь донесу, — попросился Лукач.

Уложив в сумку несколько пачек кременчугской махорки и курительной бумаги, он пополз к блиндажу. Немцы заметили смельчака и открыли по нему ружейный и пулеметный огонь. Пули ложились рядом, а старшина

все полз, уткнув лицо вниз, и думал: „С табачком-то оно веселее. С табачком и воюется легче“. Он сам был человеком курящим и понимал это дело. И он принес им махорку. Шинель на Лукаче вся промокла. Руки и ноги были в грязи, потому что пришлось ему ползти через лужи. Но табак он ухитрился донести в целости и сухим.

— Вы, старшина, рисковали жизнью, — сказал ему кто-то из красноармейцев.

— Ладно, давайте закурим, — ответил на это Лукач.

И все потянулись к махорке. И как-то веселее стало и в блиндаже и на душе у бойцов. А старшина, выкурив с пулеметчиками на совесть скрученную солдатскую папироску, сказал: „Сушиться пойду“. Попрощался и пополз обратно...

5. ПУЛЕМЕТ № 8374

Когда после жестоких боев, которые выдержали гвардейцы, в роту пришло пополнение, самого младшего из вновь прибывших, красноармейца Афанасьева, назначили вторым номером к станковому пулемету.

Афанасьев был совсем молод. Его год еще не брали в армию. Он пошел добровольцем и все добивался, чтоб поскорее отправили на фронт.

То обстоятельство, что его назначили в гвардию да еще пулеметчиком, очень обрадовало Афанасьева. Мысленно он уже видел себя на огневой позиции возле новенького, поблескивающего вороненой сталью пулемета...

Пулемет № 8374, доставшийся Афанасьеву, оказался поцарапанным пулями, поистертым „максимом“, со своими капризами и секретами. Но все в роте с какой-то нежной заботливостью относились к нему; может быть потому, что с этим пулеметом была связана память о хороших товарищах, о тех, которые завоевывали в боях гвардейскую честь и славу.

В роте отлично помнили Вовка, ясноглазого украинского парня. Вместе с этим пулеметом он участвовал в первых сражениях. Однажды ему пришлось отбиваться от сотни автоматчиков. Уложив половину наступавших немцев, израненный, истекающий кровью, Вовк все-таки не оставил пулемета. Он передал его командиру взвода Курбету.

Когда рассказывают о Курбете, то вспоминают, что у этого была своя манера стрелять: бил длинными, уничтожающими очередями. Он был человеком отчаянного характера. Раз с пулеметом он сел на быстроходный танк и, ворвавшись в хутор, занятый немцами, устроил там настоящий разгром. Говорят, что целая рота фашистов в панике бежала от одного пулеметчика...

Погиб товарищ Курбет в одном горячем бою, и пулемет перешел к сержанту Герасимову. Спокойный, неторопливый Герасимов всегда стрелял лишь наверняка. Выпустит три-четыре патрона и замолчит. Потом опять. Но как-то подсчитали, что в одном бою он убил шестьдесят четыре немецких солдата. У него ни разу не было осечки или задержки, и если острый глаз пулеметчика заметил немца, то пуля уж наверняка поражала его.

Хороший был парень Герасимов. Он трижды был ранен на юге в бою за высоту „Соленую“ и теперь находится в госпитале. Пишет, что дело идет на поправку.

Потом пулемет достался веселому сержанту Бабакину. Ему нравилось выстукивать на пулемете разные мотивчики. Музыкальный что ли был человек.

Однажды немцы пошли в психическую атаку. Шли они во весь рост, молча, как деревянные. Бабакин встретил их маршем, а потом, когда фашисты подошли ближе, он вдруг перешел на „русскую“, и пулемет с поразительной быстротой застрочил, выговаривая лихой, зажигающий ритм „барыни“. Немцы не выдержали этой музыки и шарахнулись назад, оставляя десятки убитых и раненых.

Случилось, что пулеметный расчет был прижат к берегу гнилой болотистой речки. Но и тут бойцы не оставили свой пулемет. Красноармеец Полетяной, чуть не утонув сам, перетаскил его через воду...

Теперь первым номером пулеметного расчета был старый гвардеец Дворяткин, невысокий, невзрачный с виду боец. Дворяткин Афанасьеву показался неинтересным, слишком будничным по сравнению с теми боевыми товарищами, о которых так много он слышал и от самого Дворяткина и от других.

Но вот как-то ночью лежали в степи пулеметчики, думали о предстоящем наутро бое, вспоминали разные случаи, и кто-то сказал:

— А ведь нашего Дворяткина танком давило.

— Как это? — быстро спросил Афанасьев.

И ему рассказали, что однажды Дворяткин со своим пулеметом, устроившись в окопчике, вел огонь, поддерживая наступающую пехоту. Вдруг немцы бросили в контратаку танки. Один из танков шел прямо на пулеметчика. У него еще оставался шанс на спасение: можно было по ходам сообщений отбежать от пулемета и схорониться в кустах. Но Дворяткин не хотел бросать пулемет. Он продолжал стрелять, что-то крича. Вот танк уже рядом. Немец очевидно решил раздавить пулеметное гнездо своими тяжелыми гусеницами. Но в последний момент Дворяткин столкнул пулемет в окопчик и сам упал рядом. Танк прошел сверху над ним, и лишь потому, что окоп был довольно глубокий и узкий, пулеметчик остался жив. Его немного присыпало землей...

— Мы видели это, — сказал кто-то из гвардейцев. — Танк потом подбили гранатометчики.

— Верно, — подтвердил и сам Дворяткин, лежавший поодаль и все время до этого молчавший, словно речь шла вовсе не о нем.

Афанасьев тихонько подполз к нему и, взглянув на лицо товарища, озаренное блеклым желтоватым светом ущербной луны, вдруг не узнал его. В первый раз Дворяткин показался ему каким-то особенным, даже красивым.

— А страшно было? — спросил он шопотом.

— А то думаешь — нет? — отозвался Дворяткин спокойно и скучно как всегда. Потом он, засмеявшись, добавил: — Ух, и ругался же я тогда. И в душу, и в бога, и в Гитлера — все перебрал...

Они помолчали, и вдруг сбивчиво заговорил Афанасьев.

— Товарищ, — сказал он, — ты может быть думаешь, что я еще молод и у меня нехватит характера? Но понимаешь, я чувствую, что все, кто стрелял из нашего пулемета, — и Вовк, и Курбет, и ты — все они тут вот, во мне. И я клянусь тебе матерью, жизнью своей, всем, чем хочешь, что никогда не оставлю нашего пулемета, буду бить немцев до их последней гибели, и лучше умереть мне теперь, чем отступить...

Тогда необыкновенно мягко и сердечно ответил ему Дворяткин:

— Ну, это ясно. Гвардия...

6. БРАТЬЯ ЦУКАНОВЫ

У меня в вещевом мешке лежат негативы фотографических снимков обоих братьев Цукановых. Я фотографировал их в селе Никифоровке, недалеко от Дебальцева, накануне того дня, когда произошел случай, о котором будет рассказано ниже. Тут же я и познакомился с ними...

Их было двое. Старший, Василий Цуканов, служил водителем танка, а Виктор был башенным стрелком. Братья жили, что называется, душа в душу. Воевали они чуть не с первого дня. Не раз приходилось им бывать в жарких боях. И все говорили про них: „Вот какие отчаянные и веселые ребята“ (...Вот я вынул сейчас негатив, посмотрел его на свет и увидел, что оба стоят они в полущубках возле своей машины и широко улыбаются...).

В тот день, когда это произошло (то-есть не в тот день, когда я фотографировал их, а днем позже, когда погиб младший Цуканов), четыре танковых экипажа получили боевую задачу атаковать позиции немцев и прорвать немецкую оборону левее Никифоровки.

Первым пошел танк Цукановых. В нем, кроме братьев, были еще двое: командир машины Митин и пулеметчик-радист Староверов. Сзади шли еще три „КВ“. Заметив их, немцы открыли ураганный артиллерийский огонь. Одним из снарядов пробило башенный люк головного танка. Осколком был убит Виктор Цуканов. Он умер сразу, не успев даже крикнуть. Горькой, тяжелой скорбью наполнилось сердце старшего брата...

Но как раз в это время из-за пригорка навстречу боевым советским машинам вышли девятнадцать танков противника. Растеряться в этот момент, отступить — значило сорвать операцию. Надо было действовать решительно, быстро.

— Посадите брата рядом со мной, — сказал Василий. — Староверов пусть займет его место в башне. Пойдем вперед и будем вести огонь.

И вот мертвого Виктора посадили на место радиста, а Староверов перелез в башню и стал стрелять по немецким танкам из пушки.

Сидя рядом с убитым Виктором, Василий Цуканов повел танк на сближение с противником. Тяжелый „КВ“ шел, как гроза. Увлеченные им, на немцев бросились и

другие машины, стреляя в упор. Боевой порядок немцев расстроился. Фашистские танки расползлись по полю. Некоторые из них застряли с перебитыми гусеницами. Некоторые горели.

А Цуканов метался по снежному полю битвы, настигая и разя противника. Локтем своей руки он чувствовал локоть младшего, любимого брата и, забыв о том, что тот уже мертв, все повторял:

— Давай, давай, Витя, давай...

Немцы, не ожидавшие такой дерзкой отваги от четырех русских танков, начали отступать. Наши танкисты стали преследовать их. В дело вступила противотанковая артиллерия. Разгорелся бой в глубине обороны противника. Люди, видевшие это сражение, рассказывали, что никогда еще на поле боя не было столько огня и грома...

Двадцать часов продолжалось сражение. Двадцать часов в танке, рядом с живыми, сидел мертвый товарищ, самый молодой из них, самый жизнерадостный. Живые мстили за его смерть. Только после боя похоронили Виктора Цуканова в хуторе Веселом, на земле, отвоеванной у врагов...

7. ПАРТИЗАНЫ

Много я слышал об этих людях... Директорский кучер Тимофеич был тихим, смирным холостяком. Люди, знающие его давно, говорили, что и холостяком-то он остался из-за своей постоянной застенчивости. Споров и просто крупных разговоров Тимофеич избегал. Даже когда выпивал, а это порою случалось с кучером, он не становился ни шумнее, ни разговорчивей, а тихо, благородно шел домой и ложился спать. Впрочем, дело свое он справлял ревностно, и директор был им очень доволен.

Но вот наступило время, когда директор сообщил Тимофеичу, что должность кучера ликвидируется, и что старику лучше было бы уехать куда-нибудь в тыл. Это случилось осенью 1941 года, когда к городу подходили немцы.

— Не ожидал я от вас этого, — тихо, но с укоризной ответил директору кучер. — Я же знаю, что вы партизанский отряд собираете. А мне, значит, — в тыл. Что ж, я винтовку сроду не видал, или эта земля мне вовсе чужая? Нет, не ожидал, честно скажу...

И вот Тимофеич стал партизаном. Немецкое командование не раз бросало против этого отряда роты карателей. В одном бою, когда на отряд навалилось около трехсот эсесовцев, командир услышал подле себя крепкий, молодцеватый басок:

— А ну, хлопцы, подпускайте их ближе и бейте по выбору!..

Голос показался командиру незнакомым. Всех людей в своем отряде знал наперечет, и знал не первый денек, но человека с таким баском что-то не помнил. Он оглянулся и вдруг увидел недалеко от себя Тимофеича. Старик спокойно прицеливался и стрелял в перебегающих по ложине немецких солдат. В промежутках между выстрелами и пока заряжал винтовку он покрикивал:

— Так, хлопцы, так! Подпускайте их, разбойников, ближе да бейте, чтобы ни один не ушел...

И потом еще много раз приходилось командиру наблюдать за Тимофеичем в бою. Чем труднее, чем жарче была схватка, тем спокойнее и тверже держался старик. Он даже как-то молодел. Его охватывало вдохновение боя. Много раз старику давали очень важные, сопряженные с большим риском, поручения, и всегда он принимался за дело с такой спокойной уверенностью, как будто ему на-всегда сказали: „Запряги-ка, дескать, Тимофеич, гнедого в пролетку...“

Что же касается этого человека, то он пришел в партизанский отряд чуть ли не первым. Маляр и стекольщик по профессии, Петро отличался некоторой странностью. На голове у него была мохнатая шапка из сивой овчины, и весь он казался выпрыгнувшим из рамы, с картины, изображавшей партизана времен гражданской войны.

— Мы старые партизаны! — шумел он. — Нам это не в диковинку — немцев бить!..

Он был слишком живописным в своем порядке, слишком шумным, и может быть поэтому товарищи относились к нему с недоверием, а кто-то даже сказал про него: „хвальбишка“...

Но как-то в бою Петро, вместе с другим партизаном Реминым, вырвались слишком вперед. Их окружили немецкие автоматчики. Ремина тяжело ранили.

— Добей меня, Петя, — попросил он.

— Что ты, дурной, говоришь, — ответил ему Петро. — Небось, прорвемся.

Он перевязал и осторожно стал тащить раненого, в то же время отстреливаясь от немцев. Сраженный его меткой пулей упал один автоматчик, потом другой, третий... четвертого и пятого он уложил гранатой. Петро действовал смело. Он прорвался. Вытащил обеспамятвшего товарища, и когда уже был в безопасности, доложил командиру:

— Ремин и я уничтожили пять фашистов.

Но товарищи видели, что это сделал он один, тот самый Петро, которого до сих пор считали пустяковым человеком. Его стали хвалить, а он опять загалдел:

— Да нам что, да мы старые партизаны...

... А вот представьте себе обыкновенного бухгалтера из какой-нибудь районной конторы. Уже немолодого, очень аккуратного на службе, скромного в семейной жизни, обремененного всякими домашними заботами, хлопотами.

Именно таким бухгалтером был Иван Иванович. И буквально никто не предполагал, что этот человек пойдет в партизаны. „Ну, — думали про него, — этот уедет куда-нибудь в Ташкент или Новосибирск и будет там подводить балансы“... А между тем беспартийный бухгалтер Иван Иванович аккуратненько сдал свои конторские книги и пошел в партизанский отряд. Вместе с другими партизанами давал он клятву в верности служения родине и выполнял ее как подобает большевику.

... Ночью, перебравшись с провожатым за линию фронта, мы шли по оврагу, на дне которого безумолку журчала весенняя вода, а по склонам чернели кусты краснотала. Потом мы вышли в маленький хутор, где этой ночью базировался партизанский отряд.

В хате командира, „Отца“, как называли его бойцы, мы встретились с партизанским активом. Был тут и тихий, покуривавший свою трубочку Тимофеич, и шумный маляр Петро, и многие другие. Только бухгалтера Ивана Ивановича не было с ними.

— Ранен, — пояснил командир. — Мы его в госпиталь препроводили.

— Из-за своей бухгалтерской аккуратности пострадал, — добавил кто-то.

А комиссар отряда, молодой человек с умными голубыми глазами, рассказал о том, как был ранен бухгалтер.

Партизаны напали на немецкий транспорт с боеприпа-

сами. Завязался бой. Вскоре к немцам подоспело подкрепление. Взорвав две машины со снарядами и захватив несколько подвод, груженных ящиками патронов, партизаны стали отходить. В это время упали и разбились два ящика. Рассыпались пачки патронов. Иван Иванович бросился подбирать их.

— Брось, — кричали ему партизаны. — Оставь, не до этого...

— Нет, — отвечал он, — нельзя, я трофеям учет веду. У меня должно быть все аккуратно.

Как раз в это время его и ранило пулей в плечо. Но патроны он все-таки собрал и вывез как полагается.

8. В СЕЛЕ БЕЛОГОРОВКЕ

Есть в Донбассе село Белогоровка. Там, возле школы под вербами, насыпан невысокий холмик братской могилы. В ней похоронены ротный командир Иван Сиволапов и его боевые товарищи.

Я не видел ротного командира и не знаю, откуда он родом и сколько ему было лет. Но я знаю, что он был человеком большой души. Это человек, смертью поправший смерть.

Вот что узнал я о нем и его друзьях.

Хмурой осенью 1941 года немцы заняли село Белогоровку. Отсюда они готовили новый удар. Тогда части, в которой служил Сиволапов, было приказано выбить фашистов из Белогоровки.

На исходе короткого дня с трех сторон бойцы атаковали село. Но ворваться туда удалось лишь одной небольшой группе под командою Сиволапова. Фашисты окружили горсточку храбрецов и стали стрелять в них почти в упор. Бойцы Сиволапова заняли школу. Там еще стояли сложенные парты, на полу валялся раздавленный глобус и вырванные листы задачника.

— Надо держаться здесь, — сказал командир.

— Надо, — отвечали товарищи, и из окон школы вели огонь поседающим немцам.

Немцев было раз в двадцать больше, чем наших. Они подкрадывались к школе, бросали гранаты и кричали:

— Русские солдаты, сдавайтесь, мы вас победим!

— Русские не сдаются, — отвечали им из школы и продолжали стрелять.

Тогда немцы подкатили пушку и начали прямой наводкой бить по школе, норовя попасть в окна. Во время коротких перерывов они кричали: „Сдавайтесь!“.

— Сейчас, — отвечали из школы и снова стреляли и бросали ручные гранаты в фашистов.

Всю ночь продолжался этот неравный бой. Целую ночь 19 красноармейцев с великим упорством отражали яростные атаки противника. Но вот уже кончились патроны. Нет больше ни одной гранаты. Из девятнадцати только четверо осталось в живых. Да и эти четверо во главе с командиром тяжело ранены. Уже никто не стрелял из окон разбитой школы. У Сиволапова в нагана остался один патрон. Это — для себя.

— Ну что ж, прощайте, товарищи. Мы умираем за великое дело, — сказал он.

В это время в проломе окна показался немец. И тогда прозвучал одиночный выстрел нагана. Немец упал мертвым... Озверевшие фашисты вытащили тяжело раненых бойцов из школы и бросили в грязь под вербами.

Уже занималась жидкая осенняя зоря. Рядом со школой горел сарай, и в отвесах пламени лица раненых казались еще бледней.

— Большевик? Комиссар? — спросил немецкий офицер у Сиволапова, заметив квадратики на петлицах его армейской шинели.

— Большевик, — ответил Иван.

— Все мы большевики, — сказал один раненый.

И больше никто из них уже ничего не сказал. Их о чем-то спрашивали. Толкали сапогами и прикладами. Наконец полумертвым выкололи глаза...

Трупы их еще не остыли, когда наши, получив подкрепление, ворвались в село. С честью похоронили героев. Растаял в утреннем воздухе синий дымок прощального запы. Чистым снегом запорошило могилу.

Придет время, отремонтируют школу в селе Белогорожке, привезут туда новые парты и новый глобус, новые книжки. Дети будут учиться там грамоте. Поблекнут и зарастут следы недавнего боя. Но забудем ли мы о ртом командире, русском человеке Иване Сиволапове и о тех, кто умер с ним рядом за одно великое дело?

Мы стояли над братской могилой, под вербами, пуштыми от инея. Снег падал на наши непокрытые головы. Не надолго остановились мы здесь. Был конец января. Армия шла в наступление.

— Николай, Бернарда Шоу снимал?

— Снимал.

— А Барбюса?

— Угу.

— Маяковского?

— Тоже.

— Ну, а товарища Сталина?

— Иосифа Виссарионовича? Много раз...

В печке жарко пылает уголь. Душно в шахтерской хате. Плотнo завешенные половичками окна каждый раз вздрагивают от орудийных залпов. Ведь батареи стоят совсем рядом. Началась артиллерийская подготовка. Перед рассветом дивизия пойдет в наступление.

Мы сидим на полу возле печки. Я и мой постоянный спутник по фронтовым поездкам, фоторепортер Николай Макарыч Петров.

Он невысок, сутуловат. Русское лицо его, то хитрое — себе на уме, — то по-детски простое, раскраснелось от печки. Нам хочется спать, но спать нельзя: в любую минуту может прийти приказ — выступать. И вот, чтобы не заснуть, мы сквозь дремоту перебрасываемся короткими фразами.

Петрову есть о чем рассказать. Ему уже далеко за сорок. За свою жизнь он во многих местах побывал, встречался почти со всеми знаменитыми современниками. Дома, в Москве, запающая в цинковом баке, у него хранится единственная в мире коллекция негативов крупнейших людей политики, науки, искусства, литературы...

И вдруг мне приходит в голову мысль о том, что этот человек мог бы спокойно сидеть в тылу. Скажем — в Ташкенте. Приводил бы в порядок свою коллекцию. Нормально спал, нормально ел. Была бы мирная жизнь. Мастер заработал это право... А между тем, он в первый же день войны поехал на фронт и вот уже девять месяцев в сырьё и дождь, в метель и мороз ездит по дорогам войны, стремясь попасть туда, где сложней обстановка, где не затихает сражение.

Я помню, как на Украине, под Каневом, у могилы Шевченко немцы забросали нас минами. Все побежали в укрытия, в окопы и щели, а Николай Макарыч вынул свою „лейку“ и начал снимать разрывы.

В другой раз он поехал в штаб к одному герою-тан-

кисту. Вдруг совершенно неожиданно немцы навалились на этот штаб. Все, от генерала до писаря, взяли оружие и заняли боевые посты. Петрову и двум бойцам приказали прикрывать вход в переулок. „Здесь попытаются пробраться фашисты,“ — сказали ему. И он вместе с товарищами залег в канаву, готовясь встретить немцев огнем. Из художника он превратился в солдата.

Что же привело на войну этого человека, уже вышедшего из призывного возраста? Привычка к бродячей жизни? Страсть к приключениям? Нет, — ненависть к немцам и любовь к родине, — чувства, близкие каждому русскому...

— Николай, а Горького ты снимал?..

— Конечно. И на вокзале, и дома, и даже на крыше „Известий“. Тогда был отчаянный ветер, Алексею Максимовичу это вредно. Я очень торопился и думал — „неодержка“, а вышло удачно. А вот, когда я фотографировал Пидена...

— По машинам! — раздается команда за дверью.

Быстро поднявшись с пола, мы надеваем шинели и шапки. Проверяем оружие, оправляем ремни.

Мы готовы...

Южный фронт.
1941—1942 гг.

Мих. Дудин

СОЛОВЬИ

О мертвецах поговорим потом.
Смерть на войне обычна и сурова.
И все-таки мы воздух ловим ртом
При гибели товарищей. Ни слова
Не говорим. Не поднимая глаз,
В сырой земле выкапываем яму.
Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас
Остался только пепел. Да упрямо
Обветренные скулы сведены.
Трехсотпятидесятый день войны.
Еще рассвет по листьям не дрожал.
И для остротки били пулеметы.
Вот это место. Здесь он умирал,
Товарищ мой из пулеметной роты.
Тут бесполезно было звать врачей:
Не дотянул бы он и до рассвета.
Он не нуждался в помощи ничьей.
Он умирал. И понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал конца.
И как-то улыбался неумело.
Загар сначала отошел с лица,
Потом оно, бледнея, каменело.
Ну, стой и жди. На месте, соловей,
Запри все чувства сразу на защелку...
Вот тут и появился соловей,
Несмело и томительно защелкал.
Потом сильнее, входя в горячий пыл,
Как будто настежь вырвавшись из плена,
Как будто сразу обо всем забыл,
Высвистывая тонкие колена.
Мир раскрывался, набухал росой.
Как будто бы еще едва означась,
Здесь, рядом с нами, возникал другой

В каком-то новом сочетаньи качеств.
Как время, по траншеям тек песок.
К воде тянулись корни у обрыва.
И ландыш, приподнявшись на носок,
Заглядывал в воронку от разрыва.
И колокольцы, выстроившись в ряд,
Блестая желтизной невероятной,
Мотают головами и звенят,
Бегут вперед и мечутся обратно.
Еще минута, задымит сирень
Клубами фиолетового дыма.
Она пришла обескуражить день,
Она везде, она непроходима.
Еще мгновенье. Перекосит рот
От сердцараздирающего крика...
Но успокойся: посмотри — цветет,
Цветет на минном поле земляника.
Лесная яблонь осыпает цвет,
Пропитан воздух ландышем и мятой.
А соловей свистит. Ему в ответ
Еще второй, еще четвертый, пятый...
Звенят стрижи, малиновки поют.
И где-то возле, где то рядом-рядом
Раскидан настороженный уют
Тяжелым громяющим снарядом.
А мир гремит на сотни верст окрест.
Как будто смерти не бывало места.
Шумит неумолкающий оркестр,
И нет преград для этого оркестра.
Весь этот лес, листом и корнем каждым
Ни капли не сочувствуя беде,
С неимоверной яростною жаждой
Тянулся к жизни, к солнцу и воде.
Да, это жизнь. Ее живые звенья,
Ее крутой, бурлящий водоем...
Мы, кажется, забыли на мгновенье
О друге умирающем своем.
Горячий луч последнего рассвета
Едва коснулся до его лица.
Он умирал. И понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал конца.
Нелепа смерть. Она глупа, тем боле,
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: „Ребята, нацишите Поле —

У нас сегодня пели соловьи".
И сразу канул в омут тишины.
Трехсотпятидесятый день войны.
Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал!
А может быть в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: „Ребята, дайте знать Ирине —
У нас сегодня пели соловьи“...
И полетит письмо из этих мест
Туда, в Москву, на Zubовский проезд.
Пусть даже так. Потом просохнут слезы.
И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем
У той, поджигородовской березы
Ты всмотришься в зеленый водоем.
Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.
Пусть им навстречу солнце зноем брызнет,
И облака потянутся гуртом.
Я славлю смерть во имя нашей жизни,
О мертвецах поговорим потом.

Б. И. ПРОРОКОВУ

Январь. Февраль. А после, после начнется птичий перелет.
Луна, раскидывая весла, по водополью проплывет.
Опять начнется щучий нерест, по утру запоют дрозды.
Все ушлывет под легкий шелест в зеленоватый свет звезды.
И снова, цвель не устывая, росой покроются поля,
И встанет радуга сквозная, дождем оранжевым пыля.
По лесу, полем, по над рожью, из ветра, солнца и воды
Пройдется лето знойной дрожью, нависнут спелые плоды.
Неслышно подберется осень. Дожди пройдут наискосок,
Сорвут и под ноги подбросят прошитый золотом листок.
Огонь и горечь расставаний мне жизнь раскроет вдруг сама.
Над черным дымом расставаний поднимет голову зима.
Я вспомню снег и ветер хлесткий, в огне и музыке перон,
Навозом, потом и известкой насквозь пропитанный вагон.

И вот сквозь мрак, как по уставу, как будто жизнь не
наверстав,
Хрустя и лязгая в суставах, летит, как бешеный, состав.
Мы песней согреваем душу. На нарах, отлежав бока,
Орем (в который раз!) „Катюшу“ и запеваем „Ермака“.
Свистит буржуйка, едем, едем, по сизой полночи скользя,
Почти случайные соседи и через два часа друзья.
А что мы знали. Тень, растаяв, сменялась светом. По стене
Летел порывистый Чапаев на диком взмыленном коне.
Нам только снился дым сражений и тьма тревожная застав,
И вот нас жизнь без сожалений везла, за книгами застав,
И привезла, сказала: прыгай, бери винтовку, котелок,
Иди счастливою дорогой, но помни — нет трудней дорог.
И мы пошли неотвратимо навстречу вызову судьбы,
И наплывали клубы дыма на телеграфные столбы.

ДЕВУШКА РАБОТАЕТ НА СКЛАДЕ

Девушка работает на складе,
А за двадцать километров бой.
Сколько здесь переживает за день
Грузовых машин с передовой!

Девушка на складе словно дома.
Девушке заботливость к лицу..
Здесь она своя, она знакома
Каждому шоферу и бойцу.

Весело навстречу обернется,
Каждому по-своему мила,
Каждому тихонько улыбнется,
Каждого расспросит, как дела.

Даст махорки: „Закури, ребята!“
Погрустит немного наяву—
Вы, дескать, воюете, а я-то
У Христа за пазухой живу.

А над городом свистят снаряды,
Тонко и пронзительно поют.
Девушка работает на складе,
Девушка участвует в бою.

ОН НЕ УШЕЛ С ПОСТА

Граница. Ночь, и воздух стыл. И ни луны ни звезд.
Он приказанье повторил и заступил на пост.
А через час забушевал артиллерийский гром.
Шел огневой свирепый вал и все крошил кругом.

Он резал сосны наповал, осколками хлестал.
А он лежал и наблюдал, не уходил с поста.
Земля вздымалась, клопоча сквозь свист и вой и лай,
Щуцкоры кинулись, крича, на наш передний край.

Из черных пулеметных рыл огонь смертельный бил.
Он в руку пульей ранен был и в ногу ранен был.
Он ран своих не замечал. Струилась кровь густа,
Он все лежал и наблюдал, не уходил с поста.

Когда ж ударил сверху вниз наш пулеметный град,
Когда шуцкоры понеслись в пять раз быстрее назад,—
Он автомат горячий взял. На панику, на гам
Он шестьдесят смертей послал вдогонку по врагам.

Чуть-чуть поднялся от земли, как тишина пуста.
Его обратно привели, он не ушел с поста.

Вл. Кудрин

КРАЙ РОДИМЫЙ

(Песня к пьесе В. Соловьева „Фельдмаршал Кутузов“)

Край родимый! Небо голубое!
Нет другого ярче на земле.
Край родимый, свидимся с тобою—
Я пойду в простор полей.

Наклонились травы молодые,
Над тобой навис тяжелый мрак.
Край родимый! Нивы золотые!
Наши нивы топчет враг.

За врагом иду горячим следом.
В битве сердце русское горит.
Край родимый, скорая победа
Над простором прогремит.

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

Высоко-высоко
Поднимался сокол,
С недругом встречался —
Не робел в бою.
Грозный и могучий,
Против черной тучи
Бился гордый сокол
За страну свою.

Широко-широко,
До Владивостока,
Протянулась наша

Русская земля.
Словно в море воды,
Сходятся народы
У старинных башен
Древнего Кремля.

Глубоко-глубоко,
В глубине потока,
Быстрокрылый сокол
Голову сложил.
Честь и слава смелым,
Кто душой и телом,
Презирая гибель,
Родине служил.

Далеко-далеко
Спит любимый сокол...
Вылетает в небо
Стая соколят.
За родные села,
За поля и доли,
За отцов погибших
Дети отомстят.

ПЕСНЯ СЕСТРЫ

Там, где пылмя пожарищ,
Где бушует бой,
Помни, помни, мой товарищ,
Я всегда с тобой.
Ты за русские могилы
Отомсти врагу.
Я тебе, товарищ милый,
В битве помогу.

Если хлынет кровь из раны,—
В миг перевяжу.
За тебя сражаться стану
И врага сдержу.
Я тебя на поле боя
Напою водой.
Поделюсь, боец, с тобою
Кровью молодой.

Чтобы мог ты с новой силой
Гнать фашистов прочь,
Я с тобой, товарищ милый,
Буду день и ночь.
Подойду, оправлю койку,
Сяду на краю...
Если надо, потихоньку
Песню пропою.

Сон придет неодолимый —
Спи, товарищ мой.
Я письмо твоей любимой
Напишу домой.
Напишу ей, как ты любишь
Родину свою.
Расскажу ей, как ты рубишь
Недруга в бою.

М. Кочнев

РУССКИЕ БОГАТЫРИ

Не былинный
 пьянящий мед.
Это только
 былин имена.
Мой герой —
 советский народ.
Мой герой —
 вся родная страна.
К нашим дням
 через все века
По Бояновой
 шли мы
 тропе.
В рукопашных боях
 острием штыка
Песен гневных
 записан запев.
Нам истории
 страницы
 приятно листать
От седой старины
 и до наших дней.
Не та ли
 богатырская статья
И у наших
 советских парней!
Битв минувших
 не умер звук:
Слышен он
 через все века.

И законно Ильею
 гордится внук —
Сын московского
 большевика.
Богатырская слава
 и нынче с нами,
И покорные
 властной ей,
Богатырскими
 мы
 именами
Называем
 своих сыновей.
Не поставит нас
 враг на колени,
Слово, соколом
 в небе рей!
Мы — советское
 поколение
Наших киевских богатырей.

БОГАТЫРИ СОБИРАЮТСЯ

На ранней заре,
В дымке утра синей
Илья Муромец
С Добрыней
Спешились на бугре.
К ним подъехал Алеша.
Спросил Добрыня:
— Воюют как?
— Как львы, дерутся,
Немцев крошат.—
Ответил тот,
Поправив чепрак.
— Поганое идолище били мы, —
Три богатыря сказали, —
Но ничего поганей чумы
Коричневой не встречали.
Указал Илья с бугорка:
— Флаг подняли воры,
У этого паука
Лапы обрубят скоро.
Утро чуткое слушало речь

Богатырскую в поле чистом.
Сбросил Илья палицу с плеч:
— Эх, быть бы танкистом,
Драться охота
И день и ночь —
Я бы в танке,
А мне пехота
Помочь не прочь.
Сказал Добрыня:
— А мне бы к пушке,
Пока отдыхает конь,
Встал бы вон там на опушке,
Открыл бы по немцам огонь.
Алеша поглядел в высь:
— На истребитель бы сесть!
Нравится летная жизнь —
В ней что-то орлиное есть.
Земля дрожала в долине.
— Послужим стране родной!
— Скучновато, друзья, в былине
— Давайте тряхнем стариной!
Ответил Добрыня:
— Я рад
Биться, лавиной мчась.
Поедьте в военкомат,
Пусть назначают в часть.

БОГАТЫРИ ПОД МОСКВОЙ

Бескрайная,
вольная
ширь.
Взором не смерить
Руси великой.
Здесь когда-то
пронзал
богатырь
Змея Горыныча
пикой.

Взивался,
 шипел
 разъяренный змей
 В черной
 бессильной
 злобе.
 Стоял богатырь,
 с пикой своей,
 Светлому солнцу
 подобен.
 Змей Горыныч
 уполз
 и века
 Лежал
 в норе подземелья:
 Русского он боялся
 штыка,
 Битвы когда гремели.
 И вот теперь,
 закован в броню,
 На танковых лапах
 Змей,
 Все предавая
 мечу и
 огню,
 Ползет
 по стране
 моей.
 Он протянулся
 на тысячу верст,
 От поступи
 тяжкой
 земля задрожала.
 В Баренцовом море
 у Змея
 хвост,
 На Москву
 направлено
 жалю.
 Но,
 как ни тончи он
 пути полевые,
 Как самолетами
 в небе ни рей,



„Богатыри земли русской“. Лубок палеохского художника Пашкова Е. И.

Попрежнему остры
 клинки боевые
 У русских
 богатырей.
 Клинкам на помощь
 пришли
 автоматы,
 Броневики —
 на помощь коню,
 Пушки,
 стремительных
 танков громады,
 В стальную закованные
 броню.
 „Ястребки“
 быстрокрылые
 ринулись ввысь.
 Пусть не лезут
 разбойные птицы.
 Богатыри
 под Москвой
 собрались —
 Свою
 отстоять
 столицу.
 Богатырских полков
 не счесть,
 Покойся,
 Москва,
 за их спиной.
 Добрыня Никитич
 и Муромец
 здесь
 Идут
 в колонне
 одной.
 Добрыня Никитич
 встал
 у пушки.
 Наводкою
 бьет
 прямой.

Немцы бегут
и жгут
деревушки,
Им не вернуться
живыми
домой.
Алеша Попович
пошел
на таран,
Немецкий
сбил
самолет.
А Муромец
лесом
отряд партизан
В тыл немецкий
ведет.
Но
разве
их только трое
В этот грозный час?
Семья
могучих героев,
Как сад,
у нас разрослась.
Рядом с Алешей
герой
Шевчук,
В синее небо
взорля,
Разит
фашистскую саранчу
С воздушного
корабля.
Панцырь Горыныча
Змея
трещит,
Пенится
черное зло.
Рубит Горыныча
в мелкие
щи
Муромца сын —
Белов.

Немцы
 глохнут
 от лязга и гула,
 От Москвы
 уползает
 Змей.
 Крошит его
 под Тулой
 Болдин
 с пехотой своей.
 Из глаз у Горыныча
 сыплются
 искры,
 Власов его
 у Медыни
 бьет,
 Рокоссовский
 Змея у Истры
 Тяжелыми
 танками
 мнет.
 Попробуй с такими,
 Змей,
 посражайсь-ка,
 Змей на месте
 застыл,
 Панцырь стальной
 в Можайске
 Пуркаев
 у Змея разбил.
 Добрыня глядит
 от Кремлевской стены
 Туда,
 где в молниях взрывов
 дрожит небосклон.
 — Ловко деретесь,
 мой сыны, —
 Сказал с восхищеньем он.
 — Львиное сердце,
 бесценные руки.
 Такие Горынычей
 истребят.
 Илья Иванович,
 хорошие внуки

Выросли
у тебя!
— Хорошие, правда,
Добрыня.
Горжусь.
Треплют Горыныча,
рвя
и меня,
В старшие
больше
я не гожусь.
Есть и
получше
меня.

„Я з ы к“

Нет Ильи:
к фашистам в тыл
Повел партизанский
отряд.
Суп для Ильи в котелке
остыл,
Сучья, потрескивая,
горят.
Сидят бойцы,
курят махорку,
Муромца им
жаль.
Добрыня с Алешей
вышли на горку,
Из-под ладоней
смотрят в даль.
Слепит глаза
синева небес,
Травы колышет
ветер степной,
Река серебрится,
за нею лес
Зубчатой стоит
стеной.

— Ну как, Алеша, —
 Добрыня спросил, —
 Погиб наш брат
 иль жив?
 — А где фашисту
 взять сил
 Против Ильи —
 скажи! —
 Ответил Алеша: —
 — Нет, он вернется,
 Что
 одолели Илью —
 вранье.
 Орлом Илья
 встрепенется,
 Побьет фашистское
 воронье.
 Там за рекой,
 где дорог перекресток,
 Вражий заметен
 Дот.
 На тонкой ноге
 березка,
 Качаясь,
 над ним растет.
 Алеша увидел:
 немец ползет,
 Шевелится
 над ним трава,
 Как уж,
 волочит живот,
 Мелькает в траве
 голова.
 — Вишь ты, крадется,
 будто
 змея,
 Блещет светлую
 сталью река.
 — Добрыня, а ну-ка
 я
 Живого возьму
 „языка“.
 И вот Алеша
 травой пахучей

Навстречу врагу
идет.
Вдруг
из-за проволоки колючей
Застрочил в смельчака
пулемет.
Степь и лес
утонули в тумане,
Алеша к земле
приник.
— Ты что, Алеша?
— Я ранен,
Перехитрил нас
этот „язык“.
Добрыня, брата
на плечи взвалив,
К своим
по траве пополз,
Скорбен и молчалив,
Нес он Алешу
много
верст.
Раны Алеше
промыла сестра,
Алеша
открыл глаза.
Унылый Добрыня
сидел у костра
И грустно бойцам
сказал:
— Нету в живых
Ильи.
От каких принял
погибель!..
Фашисты убили его
или
Повесили, гады,
на дыбе.
— Месть им
за брата, месть!
— Кровью за кровь
расчет,
В ком русское
сердце есть,

Кровь не забудет
тот.
Поддев на ладонь
из костра уголек,
По цыгарке
с танкистом-бойцом
Закурил Добрыня
и лег
К звездному небу
лицом.
Звезд на небе ночном
не счесть.
Синим огнем
горят,
И, кажется,
звезды месть
На вражий стан
струят.
Ветер сошел,
тих и уныл,
Росы поднимается
пар,
Над ухом Добрыни
комар заныл,
Как на столе
самовар.
Нынче Добрыне
всю ночь не уснуть:
Муромца нет,
это не горе ли?
Рвется Добрыня
петлю стянуть
Потуже
на вражьем горле.
Горизонт
кроваво-багров.
Мысли железной
вяжутся цепью.
Спугнутой
стаей перепелов
Ночь прошумела
над степью.
Слабеет мыслей
железная вязь,

Встают
вереницей длинной
В памяти
Киев,
Владимир-князь
И век золотой,
былинный.
Никак не поймешь —
то сон иль явь?
Добрыня вскочил
изумлен:
Сидит у костра
сам Илья —
Жив и невредим
явился он.
Зажег папироску
от уголька,
В пламя подбросил
дров.
— Притащил я вам
„языка“
Весом
на шесть пудов
Тяжел, как
с мукой мешок,
Где в гору,
а где через грязь
Добычу
свою волок,
Кусался он,
волком злясь.
Добрыня молча
винтовку берет:
— Я сделаю легче
ношу.
Эта подлюга —
разведчик тот.
Дайте-ка я
за Алешу...
— Не торопись, —
разгладив усы,
Сказал Илья
Добрыне серьезно:

— Послушать надо,
что скажет „язык“.
Убить
никогда не поздно.

ИЛЬЯ ВСПОМИНАЕТ ПРО СТАРОЕ, ПРО БЫВАЛОЕ

Встретил Илья
Бориса Сафонова:
— Здравствуй,
Борис Феоктистыч!
Слышал,
слышал,
как ты без звона
Хвастливого
бьешь фашистов.
И днем
и ночной порой,
В какую угодно
погоду.
Ты и видом своим
герой —
Богатырская
наша порода.
За чашкой чая
сидят, как дома,
В землянке теплой.
Румяны лица.
На летном поле
аэродрома
Готовы к взлету
стальные птицы.
Рассказ героя
песней льется:
— Уж два десятка
фрицев
сбил я.
И слушая рассказ,
смеется,

Качая головой,
Илья.
— Я рад
и радости не скрою.
За храбрость,
за мои дела
Большое звание
героя
Мне родина моя
дала.
Илья Иваныч,
ты постарше,
Пойми:
не будь бы я герой,
Я ей служил бы
точно так же —
Такой нет
родины второй.
А бить врагов-то
нам не внове.
Потомки мы
богатырей.
Илья густые
сдвинул брови
И молвил:
— чашечку налей.
Окончен чай,
постлав постели,
Илья с Сафоновым легли.
Землянке
в потолок
глядели
И сном забыться
не могли.
Спросил Борис:
— Илья Иваныч,
Ведь ты
бывалый человек,
Хоть что-нибудь
сказал бы
на ночь
Про Киев наш,
про старый век.
Ведь говорят,

порой князья-то
И в ноги кланялись тебе.
И у Владимира в палатах
Ты был, как у себя в избе.
— Хе, хе, да, это все бывало.
Владимир мною дорожил.
А на веку своем немало
Я нашей родине служил.
Я и Кощея бил,
и Змея
Горыныча,
и Соловья.
Нахвальщика, того злодея,
Сразил стрелою
на смерть я.
В почете служба была
наша.
Князь одарял
за все сполна.
Приедем в Киев,
всем по чаше
Он зелена нальет
вина —
Братьям: Алеше
и Добрыне.
Любитель гусельной игры,
Не позабыл я и
поныне
У князя в Киеве
пиры.
Мы за порог
не носим сору.

Я жить люблю
всегда в миру.
Раз между мной
и князем
ссора
Задеялася
на пиру.
За то, что князь
нас лаской
дарит,
За мой характер
и язык
Возненавидели бояре,
Еще за то,
что я мужик.
И оболгали,
черти-злюки.
Владимир вспыхнул
и вспылил:
И на пиру
о праву руку
Меня с собой
не посадил.
Я не полез в карман
за словом,
При всех
Владимиру в глаза,
В дворце его
роскошном,
новом,
Что думал,
прямо и сказал:
— Хоть ты и князь,
но правды
нету,
Владимир,
у тебя в дворце.
Не верь боярским
ты наветам!
Князь побледнел
тогда в лице,
А я свое:
настанет время,

Нахлынут недруги
на Русь.
Ты, князь,
поставишь ногу в стремя
И позовешь меня,
клянусь!
Характер у меня
упрямый,
Не уступлю —
уж лучше смерть.
И приказал Владимир
в яму
Меня
на погреб запереть.
Бояре чортовы
схватили,
Вломились ночью в теремок.
Охотно
в яму посадили,
На дверь
повесили замок.
Сижу я день,
сижу неделю,
И просидел без мала
год.
И вдруг услышал:
зазвенели
Ключи,
дворецкий
сам идет.
— Принес, Илья,
княжью милость.
Пойдем к столу,
сам князь зовет.
А сердце у меня
забилося:
— Илья из ямы
не пойдет! —
Отвечил я, —
скажите князю!
И не пошел.
Проходит день —
Опять дворецкий
в погреб влазит,

Зовет меня:
пойдем ты, цень.
— Нет, не пойду,
боярам верит
Наш князь Владимир,
а не мне.
Опять закрыл
дворецкий двери.
А я
Доволен был вполне,
Что ум мой
князю пригодился,
Ты не гляди,
что я мужик,
Да князь-то
поздно спохватился,
Я в ноги падать
не привык.
Обидел князь меня
до боли,
Поверив на слово
врагам.
На третий день,
тулуп соболий
Надев,
Владимир входит сам.
— Ты что, Илья,
надул тут губы,
Расстанься с ямою
своей.
Ты слышал:
на макушке дуба
Себе гнездо
свил Соловей.
Опять, как зверь,
разбойник свищет,
И по-соловьему поет,
Опять себе добычу ищет,
Опять кровь русскую
он пьет.
И человека нет
такого,
Чтоб уничтожил Соловья.
Послушай княжеское слово,

Вставай, Илья,
иди, Илья!
Освободи ты
землю нашу.
Аркан на Соловья-то
свей.
А то и пахари
не пахут:
Прогнал их с поля
Соловей.
Забудь, Илья,
о нашей ссоре,
За богатырский меч
берись!
Когда постигло
землю
горе,
Ты на защиту
становись!
И тут я встал.
Надел кольчугу,
Колчан взял,
стрелы
и кистень,
И шлем надел,
И снова туго
Я подпоясал
свой ремень.
— Запомни, князь, —
сказал открыто, —
Не время счет сводить
с тобой.
Обида мною
не забыта,
Но подымаюсь я
на бой
Не за тебя,
за землю нашу
Я подымаю
острый меч,
Которой нет
под солнцем
краше,

Которую
 клянусь
 беречь!
И князю
 на нос я навесил,
Что, дескать,
 будь вперед умен.
И долго после
 был невесел
И, помолчав,
 с чего-то он...
Хе, хе,
 мы слова
 зря не скажем,
А скажем —
 в точку попадем.
И под свинцом
 в бою
 не ляжем,
И на воде
 не пропадем.
И вот опять
 досталось гада
Дубасить.
 Раньше
 меч да лук,
Теперь не то,
 теперь снаряды
Мы посылаем
 на гадюк.
Алеша брат
 на ястребке...
За родину
 дерется снова.
На нашем
 русском языке
Другого нет
 милее слова.
И если буду я
 в гробу,
А дни войны
 опять настанут,
Услышав у границ
 пальбу,

Я подымусь,
из гроба встану
И крикну вновь
богатырей,
Прошедших
пламя революций.
От всех пяти
моих морей
Потомки наши
соберутся.
Нет, родине моей
не пасть.
Она такое ль
выносила.
Разумна очень
наша власть,
А там, где разум,
там и сила.

На сон грядущий
закурив,
Спят смелые
герои фронта.
А утро охрою
зари
Малюет дали горизонта.

ИЛЬЯ В ТАНКЕ

День за днем,
как дождь дождит.
Неделя за неделей,
как трава растет.
Только, немец,
удачи не жди:
Будешь ты
„утюгом“ притерт.

Это случилось
около Ростова
В степной
донской траве.
Завязался сюжет
с простого:
Вел Илья
танк „КВЭ“.
Вел
и постреливал редко
Закованной
в сталь грудью,
Как ракушки,
мял танкетки,
Вдавливал в землю
орудья.
Столбовых не надо
дорог.
Дороги искать
ему ли.
Как о стенку
горох,
Броневойные
стукали пули.
Он гладил степь
своим „утюгом“,
Дел военных
отличный мастер.
Железо и трупы
валялись кругом
Со знаками
дьявольских свастик.
— Сгоню я с немцев
чужое сальцо,
Хвост раздавлю
у гадюк.
Спасибо мое
уральцам,
Хороший
сковали „утюг“.
— Там, где
я поглажу,

Не сыщешь
 не только брьюк
И манишек,
 но даже
Не найдешь
 ни ног, ни рук.
Спасибо тебе,
 рудоносный Урал,
За сталь твою
 и за ковку.
Я на танке моем
 полземли оборал,
И сейчас он
 бегает ловко.
Пушчонка свой
 показала нос,
Залаав в кустах
 спозаранку,
И на землю
 сползла с колес,
Смятая танком
 в баранку.
Илья смотрел
 в смотровую щель,
Зажигательных пуль
 летали колибри,
И башню Илья
 повернул на цель,
Скомандовал:
 крупным калибром!
— Первому танку
 немецкому в лоб,
Вторым
 по колонне в хвост!
По смерти запомнил
 чтоб
Руки Ильи—
 прохвост.
Лизнули колонну
 огня языки,
От Ильи
 всего метрах в ста,
И словно в
 коробке жуки,

Танки затыркались,
встав.

Одни
на месте горят,
Другие в стороны
удирают по пашне,
И вдруг
громыхнул снаряд
Орудийный
в „КВЭ“ по башне.

Замер танк,
заглох мотор.

По стальной
горящей гряде
С места стреляет
Илья в упор

Из танковых
всех орудий.

Слушать пальбу
устав,

День с земли
ушел на покой.

Южная ночь
из-за куста

Встала
русалкой над рекой,

Бросив на небо
горсть драже
Мелких и крупных
звезд.

И все погрузилось
во мрак уже

На многие тысячи
верст.

Танки остыли,
давно не горят.

В фашистский Дот
на пригорке,

Выплюнув пушка
последний заряд,

На танке „КВЭ“
умолкла.

И пулеметы на нем
молчат,

Опорожнены
начисто диски.
Немцы из лесу
стаей волчат
Бросились
с визгом и писком.
Приклада в башню
слышен стук.
И чей-то
сиплый хрип:
— Из наших теперь
не уйдете рук,
Сдавайтесь,
эх, вы, богатыри!
И эти слова,
словно нож,
Вонзились,
словно жало!
И гневной
ненависти дрожь
По жилам Ильи
пробежала.
— Умру, сгорю,
но не сдамся я.
И в щель,
вместо ответа,
Как два снопа,
свалил Илья
Двоих фашистов
из пистолета.
Последней пулей
пистолет
Откликнулся
врагам.
Фашисты
начали совет,
Немецкий
слышен гам:
— Облить бензином
да и сжечь
И танк
и экипаж.
Но офицер
заводит речь:

— Нет, танк,
 он будет наш.
И, прицепив
 железный трос
Старательно
 к скобе,
Фашистский танк
 „КВЭ“ повез,
Как пленного,
 к себе.
Но ликовали
 зря враги,
В хвастливый
 впав задор.
Илья нажал
 на рычаги,
И ожил вдруг
 мотор.
И по густой
 степной траве,
Вперед с добычей
 мчась,
Привез Илья
 своим „КВЭ“
Фашистов
 в нашу часть.

АЛЕША ГРУСТИТ

Аэродром зарос
 травой.
Как часовой,—
 лесок
Шумит;
 поет
 над головой
Крылатый
 „ястребок“.
И круг обычный
 облетов
Над полем
 стороной,

Он на три точки
плавно сел,
Качнув траву
волной.
Алеша прыгнул
с „ястребка“,
Замолк
горячий винт.
Пробита летчика
рука,
В кровавых пятнах
бинт.
Алеша грустные
глаза,
Устал он,
постарел.
Друзьям ни слова
не сказал
И на траву
присел.
Томит его
не боль в руке,
Он боль-то
превозмог.
Слеза сбежала
по щеке,
Упала
на лужок.
Тряхнул Алеша
головой.
Илья к нему
идет,
Спросил Илья:
— а нынче твой
Удачен ли
полет?
— Удачен!
Метко сбросил
я
Все бомбы
на Берлин.
— А где твой друг?—
спросил Илья,—

Что прилетел
один?
Гастелло где? —
Алеша встал,
На запад бросил
взгляд
И, помолчав,
Илье сказал:
— Не жди его
назад.
Погиб...
погиб...
братишка наш.
Погиб он,
как герой,
Словами
разве передашь...
За лысой
той горой.
На небе
видишь
не заря,
Гастелло
там бомбил.
Цистерны, танки
там горят,
Гастелло их
накрыл.
Он мог бы
приземлиться, сесть,
Крылатый поводырь.
Не мог он
плена
перенести —
На то и богатырь.
Разбиты плоскости
крыла,
Герой решил
сгореть,
Машина дальше
не могла
Подбитая
лететь.

— Прощай, Алеша! — крикнул

мне

Мой друг

последний раз. —

Нет,

не уйдут в живых

они,

Не убегут

от нас. —

И свой

горящий самолет

На немцев

устремил.

— Советский это

был пилот,

По-русски

он бомбил.

Но гады! Гады!

знают пусть,

Уж я-то

не спущу,

Я снова

в воздух подымусь,

За брата

отомщу!

Вот подживет

моя рука.

Опять орлом

взовьюсь...

Столь пуль

вонзилось в „ястребка“ —

Сто гадов

я собью... —

Илья стоял

с минутой нем

Разгневанной горой,

И каску снял,

как раньше шлем,

— Спи с миром,

брат герой.

Сошли на Киевском
 Вокзале.
 Могучи, как и встарь,
 Все трое.
 — Нам срочно надо в Кремль, —
 Сказали шоферу
 Славные герои.
 И вот машина
 Легче птицы
 Летит по улицам
 Столицы.
 Напрасно немцы
 Протрубили,
 Что всю столицу
 Разбомбили.
 Что нет Кремля
 И нет Манежа.
 Москва цела,
 Дома все те же.
 Кремль осеняет
 Флаг советский,
 И мост не тронут
 Москворецкий.
 Живет, кипит,
 Поет столица,
 И звонко молотки
 Стучат.
 Лишь чуть суровы
 Стали лица
 Московских
 Радостных девчат.
 Встречая девушек
 Хороших,
 Добрыня
 Муромца толкнул:
 — Невесту нужно бы
 Алеше, —
 И сам лукаво подмигнул.
 Илья в ответ ему:
 — Не скрою:
 На свадьбе
 Топну я и свистну,

Невесты
Нашему герою
На шею сами
Все повиснут!

Дворец Кремлевский.
Тихий зал.
Калинин витязям сказал:
— За ваши подвиги
Страна
Вам присудила
Ордена.
Не хуже вы
Героев Трои
В красивой
Гордой старине.
Скажите:
Много ли героев
Таких, как вы,
В родной стране?
Илья поправил
Через плечи
Ремни
И вышел
Наперед.
— На ваш вопрос
Я так отвечу:
— У нас герои —
Весь народ.
Возьмем любого человека,
В любом орлиная душа.
Возьмем грузина иль узбека,
Казаха или латыша,—
Сердца их отлиты
Из стали.
Люблю советских
Я людей.
В боях они
Не отставали
От нас,
Троих богатырей.

На улицах в тот день
Видали:
Гуляли три богатыря,
Блестели золотом медали,
На солнце искрясь и горя.

БОГАТЫРИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Победы день
хочу предвидеть,
Он разгорится
заревом зари.
И знаю я—
на автора в обиде
Не будут
русские богатыри.

По ухабам
взрытых дорог,
По войны
горячему следу
С запада на восток
богатыри русские едут.
Земля
звенит под копытом,
Порхает
первый снежок
На пепелища
городов разбитых
И сел, что
Гитлер сжег.
Золотая звезда
У Ильи на груди.
Утомилась
войны пирушка.
Больше бой
над землей
не гудит,
Не грохочут
горластые пушки.

И дождями земля
свое выплакав горе,
За труд берется,
чтоб колос спел,
— В небесах, на земле и на море!..
Улыбнулся Алеша,
запел.
Подхватили Добрыня
с Ильей,
Голосов
богатырская гамма.
И летит
эта песнь
над землей,
Как победная радиограмма.
Серебром звенят
голоса...
На земле
как-то тише стало.
Надоело
юлям и лесам
Слушать визг
смертоносный металла.
Вот и грустный
дорог перекресток,
Три дороги
и три конца.
По последней папироске
Закурили три друга,
три бойца.
И, боясь подступивших
слез,
Отвернулся Илья,
произнес:
— Председателем
еду в колхоз,
Жаль — село наше
Гитлер снес.
— Ну, а я вновь
к себе на завод
Отправляюсь, —
Добрыня сказал.
— У станка не был
целый год,

Разлучила войны гроза.
Алеша сказал:
— Пусть нивы растут,
Их не вытопчет
враг в злобе.
А я пойду опять
в институт
Продолжать
свою учебу.
Значит, будем
друг другу писать.
— Будем, — решили
герои. —
Вместе бились
за родину-мать,
Вместе будем
и строить.
Прощальное крепко
пожатие рук,
Зовет и манит
даль дорог:
Алеша на север,
Добрыня на юг,
А Муромец на восток.
Навстречу старик,
в руке подожок.
В родные места
возвращается
счастлив.
С Ильей поравнялся:
— Скажи, дружок,
Из какой ты будешь
части?
Ивана Лагутина
может знавал?
Так сын это
будет мой.
Он с немцем проклятым,
как ты, воевал.
Да вот не идет
домой.
— Ну как же, отец,
не знать такого.

Человек исключительный,
редкий,
Да мы с ним
у Пскова
К немцам
ходили в разведку.
И слез Илья
тогда с коня,
— Давай-ка, отец,
присядь.
Сели они
около пня.
Глядит Илья
на седую прядь
Редких
отцовских волос,
Торчащих
из-под козырька,
И жалко стало
до слез
Илье отца-старика.
— Герой у тебя был
сын.
Снайпер хороший,
меткий,
Полроты фашистов
один
Скосил
он тогда в разведке.
Да, отец,
война есть война.
Я должен
тебе сказать:
В землю многих
уклала она
Сном непробудным
спать.
Славе героев
не меркнуть,—
цвезть.
О павших
не надо слез.

Невеселую, старче,
 весть
Я с фронта
 тебе привез:
Шел бой
 у большой реки,
Нашу теснили
 часть.
Мы три раза
 ходили в штыки,
Немца сминали
 в грязь.
Железный мост
 висел над рекой.
И кто этот мост
 возьмет
(А мост нелегко
 было взять такой),
И победителем
 будет тот.
Сказал командир:
 умрем здесь,
Но моста не отдадим.
Бой грохотал
 день
 весь.
Землю
 окутал дым.
На каждого
 нашего
 немцев трое.
Танки ползли,
 как стальные жуки.
Но наши
 решили герои
Не уступать им
 своей реки.
Вдруг танки
 ворвались на мост.
Уши грыз
 железа хруст.
Даже из люка
 фашистский прохвост

Крикнул: сдавайся, рус!
Но наш-то рус не трус!
Летит к командиру твой сын:
„Мост я взорвать берусь!
Танк не пройдет ни один!“
Командир обнял молча сына.
И в огня коловёрть
Иван, захватив мину,
Пошел на верную смерть..
Путь у бойца прост,
Родине отдал жизнь,
Поднял на воздух мост.
Сыном таким гордись!

В уши поет ветерок.
Тянется звездный воз.
Едет Илья на восток
В свой подмосковный колхоз.

СУВОРОВ

I

Он шел, штурмуя „Чортов мост“,
Бросая орлий взгляд.
А с войском ласков был и прост,
Орлами звал солдат.

Штык называл он молодцом,
А пулю душой звал,
И что его зовут отцом
Солдаты — твердо знал.

И повторял он каждый день,
Бодрил своих орлят:
— По той тропе, где шел олень,
Пойдет и мой солдат.

Там, где оленю не пройти,
Не повернет назад
Перед врагом с полупути,
Мой все равно
Пройдет солдат.

Он так своих солдат учил:
— Бить недруга умей,
Из-за кусточка наскочи,
Маневр свой разумей.

Ты притаись за бугорком,
Как тигр, воспрянь с земли,
Пока враг целится — штыком
Злодея приколи.

Люблю я бой,
А не парад.
Под пули зря не лезь,
Учися хитрости солдат,
В тебе свой разум есть.

Любите родину свою,—
Он войско убеждал,
— А кто?

Когда?
В каком бою?
Нас русских побеждал?
А кто Суворова побил?
Какие
Вражки тьмы?
А кто так родину любил
Свою,
Как любим мы!?
— Ребятуски, ушки
Держи на макушке!
Пудра — не порох,
Букли — не пушки,
Коса — не тесак,
Суворов — не немец —
Природный русак.
Мы, знаем, ребята,
Русак — не трусак,
И с немцем водить
Не люблю я родню.
А наше-то дело —
Поближе к огню.

II

Альпийских гор
Высок хребет.
Суворов спрашивал солдат:
— Ну, как, взберемся или нет?
Вперед или назад?

Уж очень горы высоки,
А на горах-то лед,
И притупились штыки,
Сам черт здесь не пройдет...
— Какой, солдатуски, совет
Дадите нынче мне.
Взбираться что ли?
Сух и сед сидел он на коне
На белом, как альпийский снег,
Гриватом степняке.
И горы белые навек
Дымилась вдалеке.

И говорит солдат в ответ:
— Вzbираться повели,
Таких-то гор на свете нет,
Чтоб взять мы не могли...

— Возьмем! — воскликнули полки,
И грянуло — ура!
И в лед вонзились штыки,
Пусть высока гора...

Полезли вверх. Летят орлы:
Нарушен их покой..
Смотрел Суворов со скалы,
Махал войскам рукой.
И чуткий конь храпел под ним,
Пугливо глядя вниз,
А облака, как белый дым,
Клубились и неслись...
И за веревки ухватясь,
Полк за полком вползал.
А камни, в пропасти катясь,
Гремели между скал.
И на веревках пушки вверх
Ташил за взводом взвод.

Суворов в страх врагов поверг,
Закончив переход.
Альпийских гор
Хребет высок,
Не смерять горных круч.
Был смел
Суворовский бросок,
Шло войско выше туч.

И каждый был измучен, зол
От воинских тягот.
А шел, куда Суворов вел:
Все выше, все вперед.
— Хвала вам, воины, хвала,
Орлам ли отступать?! —
И лавой в битву потекла
Суворовская рать.

Суворова заветы твердо
 блюдет народ советский в дни,
 Когда страну терзают орды
 Фашистской пьяной солдатни.
 В ответ на зверства с гневом ярим,
 Собрал могучие полки,
 Врагов суворовским ударом
 Берем в граненые штыки.

ЛЕНИНГРАД

Война -
 улав
 обвила
 Север,
 запад
 и юг.
 К воротам твоим,
 Ленинград,
 подползла
 Семья
 ядовитых гадюк.
 Ленинградцы
 становятся в строй.
 Летит на врага
 пуль град.
 Вышел на бой
 город-герой,
 Прославленный Ленинград.
 Идут ленинградцы
 за город
 драться.
 Печатники и кузнецы,
 Сыновья и отцы,
 Грудью встав
 у всех застав,
 Город родной
 берегут,
 Дорогие сердцу
 места.

Истребителей в воздухе гуд,
Корабли
из бухт

расходятся,
Пушек жерла
смотрят в высь,

Электросиловцы,
скороходовцы

Защищают
свободу,

жизнь.
Лица суровы,

суровы слова,
Поступь тверда

у бойца.
Была голуба

Нева —
Стала

серей свинца.
Серый гранит

Славу России
хранит.

В городе молодом
Летопись — каждый дом.

Немецкой каской
не пить из Невы.

Пусть
камни, расплавясь,

в огне сгорят —
Не склонит

своей головы
ногам врага

Ленинград.
Не вынесет

рабства,
позора

Ни камень
и ни металл.

Когда-то здесь
выстрел Авроры

Грозно прогрохотал.
Вымчится из музея

сражаться,
По улицам грохоча,

Броневи́к, с которого
к петроградцам
Прости́ралась
рука Ильича.
Не устои́т
в стороне от борьбы,
Под красноармейское
ура!
Конь,
взвившийся на дыбы,
В бой
понесет Петра.

БРАТЬЯМ

Обращаюсь к вам, братья, с приветом.
С теплым словом певучей строки.
Я душистым владимирским летом
С вами часто играл в городки.

И завидовал вашей смекалке,
Незадачливый битый игрок.
Метко, братья, метали вы палки:
Как удар, — так долой „городок“...

Бы не брали с меня контрибуций,
Как берут с побежденных в войне,
Предлагали пониже нагнуться
И верхом разъезжали на мне.

Под одним одеялом на сене
Летом мы засыпали втроем,
А когда приходилось на сцене
Выступать — и счудим и споём.

Дни за днями летели, как птицы,
Незаметно я с вами подрос,
Стал студентом советской столицы,
Вы — родной полюбили колхоз.

Возвращался я летом в побывку:
— Ну, родимая, гостя встречай! —
Разливали по рюмкам наливку,
Распивали под липами чай.

В липах пчелы гудели, звенели,
Над скворешней летали скворцы.
А теперь вы надели шинели,
Русокудрые братья-бойцы.

В ваших крепких руках автоматы.
Верьте, братья, мы встретимся вновь,
Близок день беспощадной расплаты
Над врагом за убийство и кровь.

Пишет мать мне письмо из колхоза:
„Я без дела сидеть не хочу,
Ничего, что старуха, в морозы
С молодыми овес молочу.

Мы две нормы вчера смолотили,
На току простояли весь день,
Только крепче бы недруга били,
Гнали дальше от сел, деревень.

Мы зерно обмолотим, провеем,
В закрома урожай уберем,
Тем, кто борется с лютым злодеем,
Вдоволь мяса и хлеба пришьем.

Всей стране угрожает вражина,
Не к лицу быть без дела и мне,
Потому что два сокола-сына
Бьются с недругом там на войне.

Буду бить с ними прода злого,
Помогу им трудом воевать“.
Братья, помните гневное слово,
Что в письме написала мне мать.

Н. Рыленков

ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСА

I

Прошедшим фронт, нам день зачтется за год,
В пыли дорог сочтется каждый след,
И корпией на наши раны лягут
Воспоминанья юношеских лет.

Рвы блиндажей трава зальет на склонах,
Нахлынув, как зеленая волна.
В тех блиндажах из юношей влюбленных
Мужчинами нас сделала война.

И синего вина, вина печали,
Она нам полной мерой поднесла,
Когда мы в первых схватках постигали
Законы боевого ремесла.

Но и тогда друг другу, в промежутках
Меж двух боев, рассказывали мы
О снах любви и радостных и жутких,
Прозрачных, словно первый день зимы.

Перед костром, сомкнувшись темным кругом,
Мы вновь клялись у роковой черги,
Что, возвратясь домой к своим подругам,
Мы будем в снах и в помыслах чисты.

А на снегу, как гроздь горьких ягод,
Краснела кровь. И снег не спорил с ней!
За это все нам день зачтется за год,
Пережитое выступит ясней.

II

Ты никогда так не была близка мне,
Как в эти дни тревожные, когда
Столетних зданий распадались камни,
В колодцах кровью пенилась вода.

Детей теряли матери, а дети
Теряли детство! Кто его вернет?
Мы позабудем многое на свете,
Но позабыть не сможем этот год.

Все пережить нам легче было б вместе,
Мой друг,

моя сестра,

моя жена!

Но ветер нес безрадостные вести,
Луна была, как уголь, сожжена.

От гнева губы сохли, как от жажды,
Не мог я думать ни о чем другом.
Мне встретиться хотелось хоть однажды
Лицо в лицо,

глаза в глаза

с врагом.

И я с тобой расстался, дорогая,
Тоской разлуки увеличив счет...
В такие дни, любовь превозмогая,
Дорогой мести мужество идет.

1942 г.

III

Тебя забыть? Ты думаешь так просто
Тебя забыть, сердца разъединить,
Как в раннем детстве, досчитавши до ста,
Заснуть, порвав дневных событий нить.

Какая ты наивная! Какая
Смешная ты! Да у меня в ушах
Поет грудной твой голос, не смолкая,
Стучится в сердце мне твой легкий шаг.

Ты по ночам, повелевая снами,
Ко мне приходишь, горячишь мне кровь,
И все, что вместе пережито нами,
Передо мной разворачиваешь вновь.

И все теперь мне дорого. Я даже
Размолвки наши горем не зову!
Проснувшись, я ищу тебя:

— когда же

Тебя увижу снова на яву?
Я буду лучше, чем тогда. Не здесь ли
Копил я нежность, ото всех тая?
Ну, как же я тебя забуду, если
Ты — это я.

Ты — молодость моя!

Но приказало время:

Все изведай!

Пусть выступает в письмах кровь из строк.
Нам обусловлен на войне победой
И срок разлуки, и свиданья срок.

Так что ж в глаза заглядывать надежде,
Ее пытливость наша оскорбит.
Я рвусь к тебе. Но я приду не прежде,
Чем будет враг земли моей отбит.

IV

Немцем выжженные селенья...
Тени виселиц на снегу...
Нынче день твоего рожденья,
Как поздравить тебя смогу?

Я к тебе не приду с подарком.
Ты вина мне не поднесешь.
Скоро полночь, за старым парком
Пулемета смертная дрожь.

Время близится, и по знаку
(Мне приказ боевой знаком)
Я бойцов поведу в атаку,
Путь прокладывая штыком.

Будет бой и долог и жарок,
Смерть пройдет по нашим следам.

Может самый большой подарок —
Жизнь мою за тебя отдам.

За поруганные селенья,
За сожженные города...
Знай, что день твоего рожденья
Не забуду я никогда.

1942 г.

Дер. Назарово, Волоколамский район.

А. Киселев

КИЕВЛЯНЕ

Ребята такие,
Что бились за Киев,
Со смертью встречались не раз.
Теперь они в роте у нас.

Такие ребята:
Штыком и гранатой
Владеть из них каждый горазд.
Теперь они в роте у нас.

Их нету речистой:
Стишок о фашисте,
Смешной ли расскажут рассказ, —
Уж так распотешат всех нас,

Что некуда деться,
Берешься за сердце,
Аж сыпятся слезы из глаз.
Какие есть парни у нас.

И все же не скрою,
Я правду открою:
Грустят киевляне подчас.
И это волнует всех нас.

Ребята такие:
Им больно за Киев.
„Скорее бы пробил тот час...“
И это понятно для нас.

Тот час недалече.
Готовьтесь ко встрече,
Он близок — тот радостный час,

Когда нам объявят приказ:
— На Киев, гвардейцы.
— На Киев, гвардейцы.
Мы выполним точно приказ.
И будет отрадой для нас, —

Что вновь киевляне
В родительском стане
Встречают свой утренний час,
Что выполнен точно приказ.

РОТНАЯ ПЕСНЯ

Командиру роты дан приказ: вперед.
С командиром роты политрук идет.

А за ними сотни полторы ребят,
Все сердца любовью к родине горят.

Нам не страшен враг, смерть нам не страшна, —
Потому победа каждому видна.

Боевая слава сердцу дорога.
Будем этой ночью снова бить врага.

Не берет нас пуля, штык нас не берет.
Командир любимый нас ведет вперед.

Политрук любимый каждый день и час
Большевикским словом окрыляет нас.

Разобьем фашиста — клятого врага.
Боевая слава сердцу дорога.

ПОДРУГЕ

(Из писем Лады)

Снова полымя вьюги
Заметает пути.
Ты к веселой подруге,
Мое сердце, лети!

В тридесятый поселок,
В тот текстильный район,
Где цепочкою елок
Светлый дом окружен.

Стукни, сердце, в калитку
И, подругу любя,
Не письмо, не открытку,
А отдай ей себя.

Расскажи ты подруге,—
Что по звездному льду
Через полымя вьюги
Я в разведку иду;

Что сопутствует счастье
Мне в суровом краю,
Что вернусь я с удачей
Снова в роту свою.

Пусть с улыбкой пригожей
В цех фабричный идет!
Пусть живет, не тревожась,
Счастье родины ткет.

ДРУЖБА

Когда и где
Мы встретимся опять?
А хорошо бы
Друга повстречать!

Средь сотен лиц
Его узнаю вдруг,
От всей души
Ему я крикну: „Друг!“

И он ответит тем же мне,
И нас
Ничто уж не разлучит
В этот час.

Закурим.
И начнем мы вспоминать..
...Был дома я недавно.
Видел мать,

Жену,
Сынишку на руках качал.
Всех мастеров
На фабрике встречал.

Седые мастера
Их сыновья
Сражаются на фронте,
Как и я) —

Как сыну
Были рады мне они.
Я не забуду никогда
Те дни.

Я побывал
Во всех родных местах,
И это все
Запечатлел в стихах!

Товарищ мой,
Прошедший все бои,
Поведай мне
Все радости свои.

Я буду
Слову каждому внимать
И слово каждое
Запоминать, —

Чтобы потом
Их перелить в стихи,
Чтобы потом,
Когда пойду в штыки,

В атаки лобовые,
Под свинец,
Я чувствовал,
Что рядом друг-боец,

Что мы не расставались
Ни на час,
Что чувство братства
Всюду среди нас!

ПИСЬМО БОЙЦА

Здравствуй, отец!
Здравствуй, мать моя родная!
Шлю вам
Привет боевой!
Бьюсь я с врагами
За счастье народное,
Бьюсь
За народ трудовой.
Вот почему
И пишу вам не часто я,
Дорог бойцу
Каждый час.
Гидра фашистская,
Свора клыкастая,
Все еще лезет
На нас.
Все еще кружатся
В небе стервятники, —
Ждет их
Позорный конец.
Непобедимы
Советские ратники,
Я — этой рати
Боец.
Клятву отчизне
Я дал нерушимую,
Я этой клятвой
Живу.
Телом своим
Защищал я любимую,
Нашу родную
Москву.
В лютый мороз,
В крутоверть-непогодину

Грудью иду
На врага.
В сердце несу своим
Милую родину,
Небо ее
И снега,
Зори, дожди,
Семицветные радуги...
Свято храню я
В душе
Песни ее,
Что поются на Ладоге,
Волге, Днепре,
Иртыше.
Чувствую локтем я
Локти товарищей,
Каждой кровинкой —
Страну.
Ворогу мщу я
За кровь, за пожарища,
Мщу я ему
За войну.
Топчим и гоним мы
Клятого врага
Сталью, морозом,
Огнем.
Все, что с младенческих лет
Сердцу дорого,
Все мы
Сторицей вернем.
Вот почему
И пишу вам не часто я,
Дорог бойцу
Каждый час.
Скоро явлюсь и скажу я вам:
„Здравствуйте!“
Скоро увижу я
Вас!

НА ШТУРМ

Пылают заревом селенья,
 Метет свинцовая пурга,
 И мы уходим в наступленье
 На озверелого врага.

Дрожат шербатые дороги,
 Горят шатучие мосты.
 А по обочинам пологим
 Солдат обманутых кресты.

По брызгам розовой ракеты
 Взмывают соколы в зенит.
 Аэродрому свежий ветер
 О нашей славе говорит.

Все ближе просеки границы,
 Короче все на запад шлях.
 Какие радостные лица
 В освобожденных городах.

Мы в эту грозную годину
 Идем на штурм, в огонь и дым:
 За Ленинград и Украинну,
 За Белоруссию и Крым.

НА АЭРОДРОМЕ

И эту ночь механики не спали,
 Приказ вождя зажег в сердцах задор,
 Безустали детали проверяли
 И ремонтировали авиамотор.

Чтоб на рассвете снова самолеты
 Неслись грозой в заоблачную высь
 И на врага в стремительном полете
 Через огонь зениток прорвались.

Чтоб рокотали мощные моторы
Над зарослями фронтовых ложин,
Чтоб выжигали пулями узоры
На фюзеляжах вражеских машин.

И, устремляясь в голубые дали,
На курс ложилсь верный и прямой.
Чтоб невредимыми обратно пролетали
Стальные птицы над родной землей.

АВТОФОН

I

От белой двери с надписью на медной блестящей дощечке: „Лаборатория. Вход посторонним воспрещен“ — веяло строгим безмолвием тайны. Проходя мимо этой двери, сотрудники института невольно сдерживали шаг и понижали голос. Там, в лаборатории директора института профессора Незванова, вот уже более года рождался его новый аппарат, крупнейшее из последних его изобретений. Никто в точности не знал, в чем суть этого изобретения, но ни для кого не было секретом, что оно должно было сыграть серьезную роль в укреплении обороны Советского Союза.

В общем же аппарат Незванова и все работы, связанные с ним, считались в институте как бы некоей запретной зоной, и всякое слишком откровенное проявление интереса к ней расценивалось как верх неприличия.

Внук профессора, двенадцатилетний Юрка, не разделял подобных предрассудков. Одержимый духом романтики и любопытства, он ходил вокруг вышеуказанной запретной зоны, силясь проникнуть в ее тайну. И к каким только военным хитростям не прибегал он для этого! Но, увы, — все усилия его были тщетны. И даже его любимец и друг аспирант Брагин, всегда оказывавший ему такое большое доверие, всегда такой словоохотливый и откровенный, мгновенно превращался в немой гранит, лишь только разговор касался незвановского аппарата.

— Ты, брат, Юрка, брось эту дипломатию, — сказал он ему однажды с грубоватой прямоотой. — Все равно, брат, ничего не узнаешь.

В тайну аппарата было посвящено только два человека, принимавшие непосредственное участие в работе

изобретателя. Одним из них был профессор Флорентский, уже немолодой ученый, скромный и честный труженик науки. Другим был Николай Брагин, совсем еще юный аспирант, всего лишь год назад спорхнувший сюда с вузовской скамьи.

По поводу этого второго помощника многие в институте недоуменно пожимали плечами, откровенно удивляясь выбору профессора. К чему было выдвигать на столь серьезную и ответственную работу какого-то легкомысленного юнца?

Но старик Незванов, повидимому, знал, что делал. И он не ошибся. Выдающиеся работы Брагина в области звуко-электрозаписи и звукоулавливания оказались чрезвычайно полезными для старого изобретателя. Профессор даже сам удивлялся: „И откуда это у мальчишки?“ Сам того не замечая, он успел уже привязаться к этому скуластому, длинноногому юноше с насмешливым взглядом узких монгольских глаз, с выпуклым лбом математика и упругой поступью спортсмена.

Уже более года работали они в тесном содружестве, сгорая от огромного напряжения сил, в обстановке строжайшей засекреченности. Когда же над страной запылало грозное зарево войны, они сразу почувствовали себя, как на фронте. Все трое были хранителями важной военной тайны, и теперь каждый из них знал, что малейшее их движение, каждый их шаг подстерегают десятки холодных, беспощадных вражеских глаз. Нужно было удесятить бдительность. Теперь и самого изобретателя, и его помощников уже ни на минуту не покидало напряженное чувство опасности, глухое и тревожное ощущение незримого присутствия врага. Враг ощущался повсюду. Невидимый, он крался по гулкому коридору института, он подслушивал у дверей лаборатории, он подглядывал, притаившись где-то за лабораторными окнами. И не он ли это отравил недавно любимую собаку Незванова — овчарку Леду? И не его ли шаги мерещились по ночам старому профессору, ночевавшему иногда в лаборатории?

* * *

Неожиданно из Наркомата прислали приказ об откомандировании профессора Флорентского. Незванов долго в тяжелом раздумье сидел над наркоматовской телеграммой, сердито шевеля седыми кустоватыми бровями. Предстояла трудная задача — подобрать взамен Флорентского подходя-

шего человека. Целый вечер просматривал он вместе с секретарем партбюро Голубевым списки сотрудников. Наконец, как и следовало ожидать, выбор их остановился на профессоре Грамберге. Это был один из профессоров института.

— Не понимаю, — чуть заметно улыбаясь, сказал Голубев, — почему вы сразу не пришли к этому?

Незванов искоса блеснул на него очками:

— Ничего не поделаешь, батенька. Такое уже наше старикинское дело. Перестраховочка-с!

И тут же неожиданно заявил, что от окончательного решения насчет кандидатуры Грамберга он все же пока воздержится. Надо еще посоветоваться в Наркомате. И попросил Голубева пока что об этой кандидатуре никому не говорить. Сам же сообщил об этом одному только Брагину. Тот весь просиял.

— Вот это чудесно! — и восторженно по-мальчишески прищелкнул всеми пальцами. — Я так и знал.

Он был большим почитателем и другом профессора Грамберга.

II

Иван Иванович Грамберг появился на институтском горизонте около года назад. С первых же дней он совершенно пленил здешнюю публику своей обширной эрудицией, ораторским даром, приветливой простотой обхождения и изысканной внешностью высококультурного человека. И как-то само собой получилось, что этот корректный, самоуверенный человек с мягким, но в то же время властным выражением прикрытых тяжелыми веками глаз — сразу стал полезным и необходимым во всех решительно делах институтской жизни — вплоть до редактирования стенгазеты. Его похваливали в партбюро. Лаборантки провожали его влюбленными глазами, молодежь льнула к нему. Сам же он почему-то особенно благоволил к Николаю Брагину. У них даже завязалось что-то вроде дружбы. И жили они последнее время вместе, в небольшом флигельке, стоявшем на отлете от институтского городка. Грамберг занимал верхнюю квартиру с балкончиком, Брагин помещался внизу.

Грамберг очень интересовался научно-изобретательской работой Николая. Польщенный вниманием профессора, Брагин охотно посвящал его в некоторые свои изобретательские дела. Последнее время он работал над звуко-

записывающим прибором собственной конструкции, который он назвал „автографоном“, или сокращенно — „автофоном“. Этот прибор, снабженный сверхчувствительным микрофоном и мощным усилителем, должен был записывать и с идеальной точностью воспроизводить все, даже еле слышимые, звуки окружающей среды. Однако об этом своем изобретении Брагин пока что скрытно помалкивал: ему хотелось продемонстрировать его перед друзьями уже в совершенно законченном виде. Исключение было сделано только для Юрки, которому Николай не только показал свой автофон, но и научил пользоваться им.

— Ничего нового я тут не создал, — говорил он при этом, любовно поглядывая на свое изящное механическое детище. — В сущности, это не больше как усовершенствованный шорнофон. Но вот увидишь — это будет великолепный разведчик. Неприметный для посторонних глаз, а потому вдвойне опасный для врага, он сумеет подслушать и записать любой разговор, даже происходящий в соседней комнате.

Как раз в тот день, когда в институте ломали голову над вопросом о заместителе Флорентского, Николай, уходя утром на работу, решил подвергнуть свой аппарат первому генеральному испытанию. Не без некоторого трепета душевного установил он его на одном из окон своей комнаты, выходящих в сторону леса. Окно он оставил открытым.

Вечером, вернувшись домой, он осторожно перенес прибор с окна на свой рабочий стол. Подавляя легкое волнение, тихонько повернул одну из ручек аппарата. И сразу же целая волна разноголосых шумов наполнила комнату, населив ее призрачным миром звуков-теней. Тут было и неясное посвистывание птиц, и отдаленный собачий лай, и автомобильные гудки. — словом, все звуки, которые раздавались здесь несколько часов назад.

— Ай, да Колька, ай, да молодец! — взволнованно бормотал Брагин, переводя на несколько делений вперед часовую стрелку аппарата. И вдруг на лице его сверкнула широкая улыбка. Знакомый голос — голос Грамберга, перемеживаясь с металлическими порогами, заговорил как будто совсем рядом, под окном:

— „...на этот раз, Лисин, ваши наблюдения подтвердились. Мальчишка оказался действительно таким крепко-лобым, что обработать его...“

— Ага! — торжествовал Николай. — Это слышно с грамбергова балкона. Чувствительность превосходная! Но зачем тут Лисин?

В памяти Николая мгновенно возникло маленькое подвижное, морщинистое и низколобое лицо лаборанта Лисина с быстро бегущими обезьянними глазками — типичное лицо кретина. Зачем понадобился Грамбергу этот странный субъект? И к чему этот разговор на балконе?

Голос Грамберга то исчезал в пучине посторонних звуков, то снова всплывал на ее поверхность. С аппаратом, видимо, случилось что-то неладное.

„... — возможен отъезд Флорентского... — еле слышно говорил голос Грамберга. — И тогда... вопрос с чертежами решается просто...“

Внезапно побледнев, Брагин резко повернул какой-то рычажок аппарата и поспешно надел наушники. Голос Грамберга уже не раздавался в комнате, но в наушниках отчетливо слышалось каждое слово. И каждое слово било Брагина по мозгу, как молотом. Видно было, как у него, словно от боли, сжимаются челюсти и морщится лоб.

Наконец он снял наушники и поднялся со стула, медленно, с ошеломленным видом переводя расширенный взор с предмета на предмет...

— Вот так чертовщина! — пробормотал он, проводя ладонью по горячему сразу вспотевшему лбу. — Вот так чертовщина!..

* * *

Совсем уже смеркалось, когда он шел аллеями старого институтского парка к квартире профессора Незванова. Впервые в жизни чувствовал он себя таким растерявшимся и беспомощным. Полчаса назад он был у Голубева, но не застал его — секретарь только что уехал в многодневную командировку. Оставалось, значит, одно — идти к Незванову и рассказать ему все... Но горячий экспансивный старик мог легко выдать свои чувства и тем испортить все дело, в котором требовалась прежде всего упорная, длительная, скрытая слежка. И все же надо было каким-то образом предупредить его...

Когда он взялся за ручку двери незвановского кабинета, ему вдруг послышался голос Грамберга. Весь внутренне вздрогнув, он ступил шаг назад, повинувшись невольному порыву — бежать. Но тотчас же, стянув усилием воли ослабевшие нервы в один тугой узел, открыл

дверь и вошел в кабинет. Незванов с Грамбергом сидели возле письменного стола и беседовали. Грамберг своей обычной несколько наигранной улыбкой приветствовал Николая.

— Мы сейчас закончим, Коля,— сказал Незванов.— Садись, голубчик, подожди. Кури, если хочешь. Там на столе папиросы.

Они продолжали прерванный разговор, кажется о каком-то ремонте. Николай уселся в стороне на широком диване и закурил, откинувшись на мягкие диванные подушки. Его смуглое лицо было спокойно, только узкие монгольские глаза над затвердевшими скулами еще более сузились и потемнели. Выпуская тонкие голубоватые кольца дыма, он неприметно искоса наблюдал за Грамбергом. И странное чувство испытал он в этот момент. Ему казалось, что не профессор Грамберг, а кто-то другой, незнакомый, сидит рядом с Незвановым. И словно впервые увидел он это жестокое бритое лицо, эти тяжелые веки, эти отвратительные волосатые руки с квадратными ногтями.

Разговор быстро закончился. Грамберг простился и ушел, бросив на ходу Николаю:

— Заходи сегодня. Сыграем партию.

Оставшись вдвоем, Незванов и Брагин некоторое время молчали. Профессор заканчивал какое-то письмо, покрывая бумагу крупным размашистым почерком. Николай в хмурой задумчивости рассматривал сзади его сутулую спину в стареньком чесучевом пиджаке.

— Андрей Петрович,— тихо проговорил он.— Простите, я прерву вас.

— Да? В чем дело, голубчик?

— Андрей Петрович. Вы никому не говорили о предполагаемой кандидатуре Грамберга?

— Нет.— Профессор перестал писать, сразу насторожившись.— Никому, кроме тебя и Голубева. А в чем дело?

Николай медленно облилиз пересохшие губы.

— Я должен вам сказать, что Грамберг ни в коем случае не может быть допущен к нашей работе.

Профессор резко повернулся в своем кресле и снял очки.

— В чем дело? Говори яснее.

— К сожалению, яснее не могу сказать. Но я со всей ответственностью заявляю, что Грамберг даже на револьверный выстрел не должен быть допущен к нашей лаборатории.

бергом осуществлялась при помощи „автофона“ и еще одного простого прибора, состоящего из микрофона, который он тайным образом установил в комнате Грамберга, и соединенного с ним мощного усилителя, хранившегося у Николая в его чемодане. Этот прибор давал возможность подслушивать некоторые интересные разговоры, происходившие у Грамберга с его посетителями, причем разговоры эти тут же автоматически записывались на „автофоне“.

Из некоторых полученных таким путем сведений Николай мог заключить, что Грамберг сильно нервничает. Повидимому его очень тревожило, что его до сих пор не приглашают на место уехавшего Флорентского.

* * *

Основные работы по конструированию аппарата Незванова были, наконец, закончены. Сегодня старый изобретатель со всеми своими чертежами отправился на машине в Москву для предварительного доклада наркому. К вечеру его ждали обратно.

Брагин, почти все утро проведенный дома, нетерпеливо взглядывал на часы. Скоро должен был прийти Юрка, — у них нынче был назначен урок английского языка.

Наверху у Грамберга раздавался мерный звук шагов — профессор прохаживался из угла в угол по комнате. Затем кто-то вошел в дом и поднялся по лестнице.

Николай торопливо присел на пол около чемодана, вытащил телефонную трубку и прильнул к ней ухом. Сквозь нестройные телефонные шумы слышны были два голоса — один незнакомый, скрипучий, другой — звучный, повелительный — голос Грамберга.

„Все в порядке, Иван Иванович, — говорил незнакомый голос. — Остается только ждать“.

„Сколько людей участвует в операции?“.

„Четверо, кроме шофера. Машина будет ждать профессора ЗИС'а с шести часов около Ильинского“.

„Запомните, как следует, — проговорил голос Грамберга. — Сборный пункт на восьмом километре, в будке линейного сторожа. Собираться порознь“.

Словно какая-то тень мелькнула в комнате. Николай, сидевший на полу спиной к окну, поспешно обернулся, но не увидел ничего. Однако он готов был поклясться, что минуту назад кто-то прошел мимо окна. Прошел и даже на какое-то короткое мгновение заглянул в комнату.

— Неужели влип? — подумал он, снова приняв ухом к трубке.

Голос Грамберга, продолжавший что-то говорить, вдруг оборвался на полуслове. Послышался новый голос, по которому Николай сразу узнал лаборанта Лисина.

— Иван Иванович, — сказал этот голос, — я извиняюсь, минуточку внимания...

Затем все голоса умолкли, и слышен был только один едва различимый шопот.

— Определенно влип... — весь похолодев внутренне, прошептал Брагин.

Он вскочил на ноги и замер посреди комнаты. Мозг напряженно работал, выстраивая в порядок закружившиеся вихрем мысли... По лестнице уже спускались чьи-то неторопливые шаги, на секунду задержались у дверей Брагина и затем проследовали дальше. Видимо, наверху уже приняли меры, чтобы сразу же изолировать его, отрезать ему все пути спасения. Но как же быть тогда? Как дать знать туда?

Он присел около стола, стиснул ладонями лицо и зажмурился, напряженным усилием мысли ища лазейки из замкнутого круга. Наконец, глубоко и шумно вздохнув, вырвал из блокнота чистый лист и быстро набросал карандашом несколько строк. Сложил лист вчетверо и, сняв с этажерки толстый красный томик, вложил в него записку. Книгу поставил обратно. Это был англо-русский словарь. Обычно он служил для них с Юркой чем-то вроде почтового ящика, в котором он оставлял ему записки в случаях своего внезапного исчезновения. Сегодня Юрка придет, когда его, Брагина, уже удалят отсюда. Он прочтет записку и даст знать туда. А если не придет?

А что, если попытаться опрокинуть человека, стоящего сейчас на страже у дверей, и удрать? Профессор будет предупрежден, но зато вся шайка мерзавцев утечет между пальцами. Нет, это не выход из положения.

— Николай! — послышался голос Грамберга с балкона.

— Алло! — звонко отозвался Николай.

— Зайди на минуточку... Ты мне очень нужен.

— Сию минуту, — также звонко крикнул Николай.

Итак, решение было принято. Записка остается в словаре. Брагин мгновение помедлил перед дверью. Сердце билось глухими сильными ударами.

— Спокойствие, Колька, спокойствие! — приказал он себе.

Он торопливо пригладил волосы и решительно отворил дверь.

При тусклом свете закопченной семилинейной лампы, за простым некрашеным столом сидело четверо: Николай Брагин — между двух окон у стены, слева от него Грамберг с помрачневшим обрюзгшим лицом, справа — Лисин и напротив незнакомый субъект в кожанке — белокурый, плечистый, с военной выправкой. Перед ними стояла полная литровая бутылка водки, несколько стаканов, кусок колбасы на тарелке.

В этой сумрачной комнате, в будке путевого сторожа (самого сторожа здесь не было: он ходил дозором снаружи) сомкнулись круговые пути двенадцатидневной слежки.

Все произошло именно так, как и надо было ожидать. Лишь только Николай переступил порог грамберговой квартиры, как сзади его оглушили чем-то тупым и тяжелым, и он сразу потерял сознание. Очнулся он уже здесь, в сторожке. Голова у него до сих пор гудела от удара.

Внешне спокойный, но весь подобравшись внутренне, как туго скрученная пружина, он с обостренным вниманием наблюдал за сидевшими перед ним тремя людьми. Разговаривая между собой, они почти совсем не смотрели на него, хотя разговор шел именно о нем. В этом было нечто зловещее. И с внезапной потрясающей отчетливостью, от которой похолодело его сердце, он понял вдруг, что быть может уже сейчас наступят последние неотвратимые минуты...

Грамберг взглянул на свои часы.

— Девять. Наверное, там уже все кончено.

Он круто, всем телом, повернулся к Брагину. Рот его кривился от злобы. Его бесило, что этот мальчишка держал себя с таким самообладанием.

— Что, милейший? — спросил он насмешливо. — Опростоволосился?

— Как знать, — спокойно ответил Николай. — Может быть, совсем наоборот.

Грамберг приблизил лицо свое к Николаю.

— Опростоволосился, юноша, дважды опростоволосился. Показать бумажку?

Он вынул из грудного кармана какую-то бумажку, медленно, с ехидной усмешечкой, развернул ее и показал Николаю. Лицо Брагина побледнело — он узнал свою записку, оставленную для Юрки. Это было страшно. Это было

страшнее, чем смертный приговор. Рухнула последняя надежда.

— Эх, ты, горе-чекист! — продолжал издеваться Грамберг. — Вздумал с кем тягаться! Молокосос! Придумал тоже, где прятать записочки.

— Давайте ближе к делу, Грамберг, — вмешался человек в кожаной куртке. — Пора кончать.

Грамберг нетерпеливо двинул локтями по столу.

— Ладно. Кончать так кончать. Ну, так вот, что я скажу тебе, любезнейший. Мы предлагаем тебе очень гуманный способ. Ты напишешь записку, и завтра ее найдут у тебя в кармане. Не возражаешь? Могу продиктовать: „В смерти моей прошу никого не винить“... и т. д.

Кто-то пододвинул к Николаю листок бумаги (вырванный из его же блокнота) и карандаш. Три пары глаз следили за ним настороженно.

Брагин взял со стола бутылку и молча налил себе пол-стакана. Движения его были ровны и неторопливы, но сердце билось неистовыми толчками. Все внутри его поднималось бешеным протестом при одной мысли, что вот сейчас эти мерзавцы убьют его, а сами, получив чертежи, благополучно разойдутся по домам. Весь мозг его напрягся в одном невероятном усилии — сию же минуту что-то придумать, что-то предпринять. И вдруг на какой-то бесконечно короткий миг ему послышался будто чей-то заглушенный крик в ночи... Неужели?..

Он вскинул голову и быстро окинул взглядом своих врагов. Что-то грозное не приметно мелькнуло в его вдруг посветлевших монгольских глазах. И он заговорил умышленно громко и развязно:

— Ну, что ж, чорт с вами, делайте со мной, что хотите. Но все-таки не забывайте, Грамберг, что во всей этой истории вы играли жалкую роль. Вы даже не потрудились узнать, как это ухитрился я читать через потолок все ваши грязные тайные замыслы.

Он говорил все громче и развязнее, откровенно издеваясь над своим врагом.

— Ладно, хватит, — крикнул вдруг человек в кожанке. — Довольно трепаться.

— Нет, пускай поболтает, — проговорил с кривой усмешкой Грамберг, шуря на Николая ненавидящие глаза. — Это даже очень пикантно — монолог над собственной могилой! Продолжайте, юноша, продолжайте.

— Вас душит злоба, Грамберг, — сказал с презрением

Николай.—Вы злитесь, это опасно. Вы можете лопнуть от злости...

Он загнулся на полуслове... И вдруг все трое, сидевшие за столом, разом повернули головы к двери.

—Что это значит?—встревоженно проговорил белокурый.—Что это?..

—Вот что!—страшно крикнул Брагин.

В руке у него блеснул стакан. Ахнув, белокурый схватился рукой за глаза, залитые водкой. Стол, двинутый яростным толчком, покачнулся. Звения покатилась бутылка. Кто-то взмахнул рукой,—и лампочка, брызнув осколками, погасла...

Во внезапно наступившей темноте раздался топот многочисленных ног, короткие сдавленные крики... Затем ослепительно-белый свет нескольких фонарей залил комнату, полную людей в военной форме. И на одно короткое мгновение—как в ярком кадре кинофильма—все увидели: что-то темное, длинное и мохнатое метнулось через комнату к поднимавшему револьвер Грамбергу. Грозное рычание собаки слилось с ударом выстрела...

Стоявший неподалеку Николай схватился за плечо и тяжело опустился на скамью. Широко раскрытыми глазами смотрел он на Грамберга, который с перекосившимся от страха и бешенства лицом извивался в руках подоспевших красноармейцев.

* * *

На следующий день профессор Незванов вместе с Юркой зашел в хирургическую клинику навестить раненого Брагина.

Они застали его сидящим на койке, сильно осунувшимся, но полным энергии и жажды деятельности. Рана у него была пустяковая, и потому тем более невыносимой казалась перспектива дальнейшего принудительного выживания на больничной койке.

Историю вчерашней поимки диверсантов Николай знал уже во всех подробностях, но сейчас заставил старика заново пересказать ее. И снова—кажется уже третий раз—пришлось профессору повторить удивительный рассказ о том, как Юрка, не найдя записки в английском словаре и встревоженный исчезновением Брагина, вспомнил о существовании автофона, о том, как он разыскал этот автофон и передал работникам НКВД; и далее—о том, как, пользуясь записями автофона, работники НКВД без осо-

бого труда напали на след диверсантов и вчера же вечером переловили всю шайку.

— Но я еще раз повторяю, — заключил Незванов, — что если бы не сей смышленный отрок, — он кивнул на сияющего гордостью Юрку, — дело могло бы кончиться далеко не так благополучно.

Профессор помолчал, задумчиво поглаживая бороду, затем проговорил мягко:

— Ошибка твоя в том, Николай, что ты слишком понадеялся на свои силы. Отсюда все последствия.

— Пожалуй, вы правы, — вежливо согласился Николай.

Однако по лицу его видно было, что соглашается он больше из вежливости и что ему просто не хочется спорить. Он отпил из стоявшего рядом стакана глоток воды и сказал с внезапным оживлением, блеснув глазами:

— Знаете, Андрей Петрович, — я подал сегодня заявление об отправке меня на фронт.

И. Зарайский.

СЛОВО О ПУЛЕМЕТЧИКЕ ПРОХОРОВЕ

*Сержанту Николаю Прохорову,
отличному пулеметчику, бывшему
артисту Ивановского драматиче-
ского театра.*

I

Взметнулся и замер гудок паровозный.
Надраенной медью горел горизонт.
Простился с любимой и утром морозным
Уехал артист-пулеметчик на фронт.
Остались далеко знакомые трубы,
Легли по пути ледяные леса...
И песню заводят озябшие губы,
И ширится песня на все голоса.
В ней запах густого фабричного дыма,
Лучистые звезды под самым прудом,
В ней смелая дерзкая юность Максима,
Родная подружка и старенький дом.
Он с песенкой этой в стрелковую роту
Приехал и занял рубеж поутру.
Он вместе с друзьями у пулеметов
Лежал трое суток в снегу, на ветру.
И дом, и жена приходили на память,
Потом забывались — он страшно устал.
Шли немцы в атаку густыми цепями,
А Прохоров, зубы сцепив, выжидал.
Все ближе фашисты. Штыки заблестали.
Хлестнула волна автоматная вдруг.
Но крепче гранита, надежнее стали
Лежал на переднем краю политрук.
Он крикнул: „Огонь!“ Пулеметчики дружно
Ударили шквальным кинжальным огнем.

На фронте спокойствие — тоже оружие,
В нем — ратная сила и подвиги — в нем.
Шарахнулись немцы, метнулись в низину,
Собрались, чтоб горсточку смелых зажать,
И падали, желтые руки раскинув,
И так на юру оставались лежать.
А Прохоров бил. И пропала усталость.
Ни есть не хотелось, ни думать, ни спать.
Пять раз в пулемете вода закипала,
Пять раз заменяли и били опять.

II

Рассвет голубел. И на бледном рассвете
Увидели войны: в снежной пыли
Брели на окопы крестьянские дети,
За ними солдаты, сутулясь, ползли.
О, подлость злодеев! За пьяной пехотой,
Рыча, вылезает закрепленный танк.
И Прохоров с теплым еще пулеметом
Ползет, сквозь снега пробиваясь на фланг.
Весь мокрый упал под широкой сосною,
И, дробь рассыпая по белым полям,
Хватил беспощадной свинцовой косою
По танку, по серым немецким строям.
И вдруг пулемет захлебнулся горячий,
А враг осмелел, устремился вперед.
Но Прохоров глубже зарылся и начал
Под шквальным огнем разбирать пулемет,
Работал с расчетом, с холодной сноровкой.
Солдаты все лезли, крича на бегу.
И брал Николай молчаливо винтовку
И пулю за пулею слал по врагу.
Он встоял храбрый. Хватил напоследок
По пьяному сброду — десятки скошил.
Он верил в оружие, в себя и победу,
Он смерть одолел и в борьбе победил.
И немцы не раз бездыханными лягут —
Атаки, походы, бои — впереди.
Он дрался отважно. Медаль за отвагу
Сверкает теперь у него на груди.

Март 1942 года.

Был у нас такой боец в отряде,
Отличали от других его
Золотая искорка во взгляде,
Басовитый выговор на „о“.

Сколько с ним дорог исколесили,
Проносся в груди святую месть!
Сколько с ним врагов перерубили,—
Никому, нигде не перечесть.

И не раз бежал проклятый немец,
Оставляя русское село,
Когда шел в атаку кинешемец
С карабином, с шашкой наголо.

С ним под Гродно встретились в июле,
Был он в битвах гневен и горяч.
Но недавно резанула пуля,
И на луку сник веселый ткач.

И упал. Кровавыми губами
Тронул землю, замер на ветру.
Мы, склонив израненное знамя,
Схоронили конника в бору.

Приютилась у сосны могила,
Мы ушли в заснеженную даль.
Стал я крепче, будто свои силы
На прощанье друг мне передал.

Я сражаюсь в доблестном отряде,
Не забыть мне друга моего —
Часто вижу искорку во взгляде,
Слышу крепкий выговор на „о“.

ИСТРЕБИТЕЛЬ

Лейтенанту А. Лежневу

Крест-накрест пули небо прошивали,
Стучала кровь стремительно в висок.
А он, зажав ладони на штурвале,
Бросал вперед послушный ястребок.

То падал, словно недругом подбитый,
То к солнцу, тучу разрезая, лез,
То двум осатанелым мессершмиттам
Ревущей бурей шел наперерез.

И выбрал миг. С крутого разворота,
Машину тугокрылую крена,
Ударил из горячих пулеметов
По черному мотору... Столб огня.

И враг упал, сугробы разметая,
И на земле горячей грудой лег.
Кружил в зените, крыльями блистая,
Стремительный советский ястребок.

РАССКАЗ БОЙЦА

Не смолкая били пулеметы,
Рвались мины, воя и звеня.
Я глядел вперед, а глаз наметан,
Острый глаз, таежный у меня

Вижу между двух далеких кочек
Синеватый стелется дымок.
Пробежал немецкий пулеметчик
И в сугроб нетронутый залег.

Я — туда. Работаю локтями.
Каждую минутой дорожу.
Целиной, промерзлыми кустами
Пулемет проклятый обхожу.

Он в сугробе невысоком спрятан,
По ребятам из укрытья бьет.

Приподнялся я, хватил гранатой —
Вдребезги немецкий пулемет.

И рванулись мы с тройною силой,
Сбив завесу вражьего огня.
Только злая пуля подкосила,
Навзничь опрокинула меня.

Огляделся. Снег кругом искрится,
По спине — мурашки. Ноги жжет.
Вижу: в отдалении сестрица
Голову склонила и ползет.

Подползла. И ласково сказала:
— Потерпи, голубчик, я сейчас.
Раны мне она перевязала
И палаткой белой занялась.

Хрупкая, склонилась, беспокоясь,
В инее и шлем и прядь волос.
Взял бы я ее одной рукою
И куда прикажете понес.

Но не мог. А поле все дымилось —
Белая метелица мела.
Девушка теплей меня укрыла
И вперед со мною поползла.

Я очнулся. Нет на мне шинели:
Где-то снег и мерзлая лоза.
На меня так ласково глядели
Голубые ясные глаза.

Я поправлюсь. Я наверно буду
В битвах, в переходах, на ветру.
Но клянусь: вовеки не забуду
Маленькую нежную сестру.

Март, 1942 год.

П. Дружинин

СОВЕТСКОМУ ВРАЧУ

Не шум знамен, не боевые горны,
Не блеск штыков, не орудийный гром,
Я славлю труд и скромный и упорный
В операционной, за столом.

Здесь тоже бой... Пусть небо не дымится,
Не носится убийственный свинец,
В палатах госпиталя, в тыловых больницах
Проходит врач, ученый и боец.

Его встречают сотни теплых взглядов,
К нему невольно тянутся сердца.
Нетрудно ноги раздробить снарядом,
Трудней поставить на ноги бойца.

Великий долг — у смерти вырвать жало,
Стране родной героев возвращать,
Чтоб девушка любимого встречала,
Чтоб сына снова обнимала мать.

Я славлю тех, чей подвиг незаметен,
Но кто по суткам не смыкает глаз,
Кто бьется за ценнейшее на свете,
За жизнь, которая дается только раз.

МЫ ПРИСЯГАЕМ

Студеный ветер снег на сопках поднял
И закружил над степью голубой.
Мы присягаем Родине сегодня,
Мы присягаем партии родной.

Пусть неприглядны эти сопки, пади,
Но все кругом — отчизна, наша мать,
И мы клянемся — ни вершка, ни пяди
Своей земли в бою не отдавать.

Ударит бой — с отвагой и дерзаньем
Пойдет пехота сквозь огонь и дым.
Мы будем драться до последнего дыханья
И жизнь свою народу отдадим.

Морозным днем и синими ночами,
Сквозь все бои с победою идя,
Мы пронесем в сердцах своих, как знамя,
Родное имя нашего вождя.

Он над землею солнце счастья поднял,
Путь указал нам, сильным, молодым.
Мы присягаем Сталину сегодня
И нашу клятву делом подтвердим.

БАЛЛАДА О ДЕВУШКЕ-ПАРТИЗАНКЕ

I

На четыре человека — один наган.
Глухая лесная тропа:
В ночной темноте сорвется нога.
И человек пропал.
Вмиг засосет болотная глубь —
Только не удержишься...
Смотрит луна в зеленую мглу,
Как одноглазая рысь.
Но каждую тропку и каждый куст
Знает отряд партизан,
Ветки надломленной тихий хруст,
Лесной неподвижный туман.
Лежит под ногами родная земля.
Ее ли не знать, любя?
К любимой земле от врага приляг —
Она укроет тебя.
Села родные губит пожар,
Кровавый меч палача,

Горе свежо, рана свежа,
Ненависть горяча.
Идут в партизаны — и млад, и стар,
И пешими, и на коне.
В небе пожар, на земле пожар,
Вся Белорусь в огне.

II

Она веселой девчонкой была,
Всего восемнадцать лет.
Две светлые косы, как два крыла,
Летали по ветру вслед.
Замучена пьяной бандой сестра,
Заколот штыками брат.
Она пришла на огонь костра:
„Примите меня в отряд“.
Сурово глядели ее глаза,
Замолк ее звонкий смех.
Девчонка стала в семье партизан
Самой отважной из всех.
Ходила, где зверь проходил с трудом,
По тропам глухим лесным.
И каждая хата, и каждый дом
Был для нее родным.
Она узнавала вражеский путь
И птицей летела в отряд.
И разрывалась туманная муть
Огнем партизанских гранат.

III

Но как-то ночью, когда леса,
Туманом одетые, спят,
Она попала в кольцо засад
И не вернулась назад.
Худой офицер с лицом палача
По-русски сказал с трудом:
— Что-то очень ты горяча,
Вместе с нами пойдем.
Он помолчал, вспоминая слова,
И крикнул хрипло: „Веди!“.
Прямата тяжелым прикладом трава,
Лес шумит впереди...
Она рассмотрела врага в упор,
В зрачки наведенных дул.

И вспыхнул гневом девичий взор:
 „Идемте, я поведу“.
 Они проходят и час и два,
 И по дорогам и без,
 Филин хохочет, пахнет трава.
 Глуше становится лес.
 Падает, падает звездный дождь,
 Сосны шумят кругом.
 — Скоро к отряду нас приведешь?
 — Скоро, сейчас придем.
 Падает, падает звездный дождь,
 Проходит за часом час.
 — Скоро к отряду нас приведешь?
 — Скоро, придем сейчас.
 И там, где нет ни путей, ни дорог,
 Встала она, бледна.
 И серебром холодным у ног
 Застыла реки волна.
 Над берегом плыл молочный туман,
 Лесные мерцали огни.
 — Вы хотели найти партизан,
 Глядите, везде они.
 Куда бы вы ни направили шаг,
 Они за вами следят,
 В лесу дремучем, в речных камышах
 Есть партизанский отряд.
 Они не дадут вам спокойно сесть,
 Сомкнуть не дадут глаз,
 Народная месть, беспощадная месть
 Настигнет повсюду вас.
 За братьев убитых, за муки и плач
 Вам отомстит Белорусь.
 — Ты что же, смеешься? — крикнул палач.
 Она отвечала: — „Смеюсь“, —
 Откинула светлые косы назад,
 И дрогнула чуть рука,
 Когда засверкала прямо в глаза
 Холодная сталь штыка.
 Луна продолжала обычный путь,
 Бесстрастная, как всегда.
 Сожгла папиросу смуглую грудь,
 Потемнела в реке вода..
 Но ни стона, ни звука с сомкнутых губ
 Дочери нашей земли.

Утром ее истерзанный труп
Друзья-партизаны нашли.

IV

Там, где журчит и смеется ручей
И скрипит старуха-сосна,
В светлом рассвете, в блеске лучей
Простая могила видна.
Лесными цветами, травой-муравой
Скоро она зарастет.
Ранней весной, белорусской весной,
Над ней соловей пропоет.
Над ней самолеты на Запад пройдут,
На солнце блеснут штыки,
И, отдавая прощальный салют,
Склонят знамена полки.
Славе героев века греметь,
Наша священная месть.
И если прикажет страна умереть,
Каждый ответит: „Есть“.
Слава отважным и молодым,
Что отдали жизнь за нас.
Мы не забудем, за все отомстим.
Близок победы час.

От Ивановского областного отделения Союза советских писателей

На фронтах Великой отечественной войны с озверевшим немецким фашизмом сражаются многие ивановские писатели и поэты.

В их славных рядах был и поэт Алексей Лебедев. Он разил врага и пламенным вдохновенным словом и смертоносными снарядами с подводной лодки, на которой он был мужественным и волевым командиром.

Гнев и священная ненависть к фашистам кипели в его молодом сердце. Он беззаветно служил любимой родине, и родина не забудет его светлого имени.

Лебедев пал смертью храбрых, честно выполнив перед родиной священный долг советского гражданина.

Он погиб в расцвете своих творческих сил, полный неосуществленных благородных творческих замыслов.

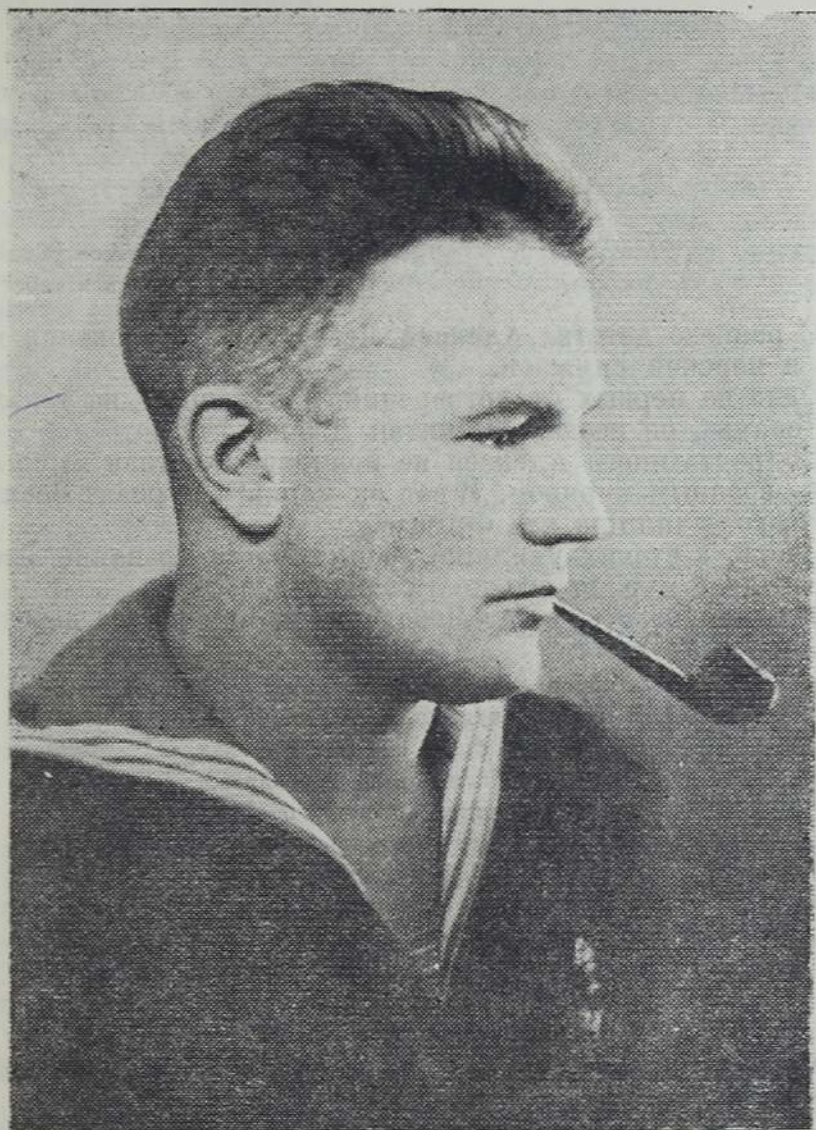
Нам, ивановским писателям, знавшим Лебедева, особенно тяжела эта утрата.

Лебедев родился в Ивановской области. Первые еще робкие стихи он читал нам. На наших глазах Лебедев вырастал в известного советского поэта. Будучи моряком, он никогда не порывал связи с родным городом. Его пребывание среди нас всегда было радостным событием. Он приносил с собой свежее дыхание моря, читал нам певучие стихи о море и советских морях, делился своими творческими замыслами на будущее. И замыслы эти были безбрежными, как морская ширь.

И вот мы больше не увидим нашего друга Алешу — кристально честного, отзывчивого, задушевного товарища.

Поэт-воин, пусть нет тебя среди нас, но мы навсегда сохраним в своих сердцах память о тебе. Твой образ и твоя молодая жизнь будут для нас примером того, как надо любить родину и как служить ей.

Ивановское областное отделение
Союза советских писателей.



А. ЛЕБЕДЕВ.

И. Макаренко

КОМАНДИР-ПОЭТ

„И в каждом дне грядущее увидеть,
И волю боя выковать в себе“.

С раннего детства Алексей Лебедев интересовался морем и морской службой.

Одно из первых стихотворений, написанных на школьной скамье, он назвал „Капитан Джонбуль“.

Подрастающего Алексея не покидает заветная мысль — стать военным моряком. И вот он моряк — курсант Военно-морского училища им. Фрунзе.

Здесь, в стенах училища, формируется сознание Лебедева. Здесь мужает его поэтический голос.

В одном из стихов А. Лебедев, вспоминая свое детство, писал:

Я обнял мать любезную мою
И чувствовал, что дней уже немного
Нам вместе быть: она же, второпях,
От радости нежданной задыхаясь,
Все так спешила со своим обедом,
Как будто был еще мальчишкой я.
Я ей сказал про то, что я уволен,
И про мечту, которой жил я ныне.
И с твердостью, внезапной в эти годы,
Сказала мать мне: „Милый сын, коль прочно
Уверен ты, иди вперед, не труся,
И сердце материнское с тобой“.

Алексей Лебедев страстно полюбил море и корабли и шел вперед не труся.

Он горячо берется за учебу, одновременно работает над развитием своего поэтического таланта. Его боевые и лирические стихотворения призывают к ожесточенным боям с врагами нашей родины, подымают бойцов и командиров на героические подвиги.

Всего лишь несколько лет тому назад как стала создаваться советская военно-морская художественная литература. В создании этой литературы большую роль играл поэт Алексей Лебедев.

По специальности он был радистом-подводником.

Он часто в среде своих товарищей говорил: „Хочу быть командиром корабля нашего великого Военно-Морского флота, для этого я и пришел сюда учиться. Люблю море, — люблю корабли“.

Как стойкий большевик, он сдержал свое слово и стал волевым командиром, училище воспитало в нем необходимые каждому командиру качества выносливости, решимости, стойкости, находчивости, преданности делу партии Ленина — Сталина.

Алексея Лебедева я знал по совместной жизни и учебе в бытность его курсантом высшего Военно-морского Ордена Ленина красносзнаменного училища им. Фрунзе. Всегда он был веселый, жизнерадостный, целеустремленный. Его знали все курсанты, командиры, профессора и преподаватели. Его уважали и любили. Его знала флотская молодежь, особенно Балтика.

В свободное от учебы время Лебедев принимал активное участие в работе редакционной коллегии газеты „Фрунзовец“. Просматривал корреспонденции, правил стихи начинающих поэтов. Бывало забежит в свободную минутку в редакцию и скажет: „Я после занятий найду, отложите корреспонденцию мне для просмотра, и кто нуждается в моей консультации, — пусть приходит“.

Горячий он был в работе.

Училище приближалось к 20-летию своего существования. Скоро выпуск. Работы много. Лебедев, готовясь к выпускным экзаменам, пишет героическое либретто для постановки. „Если ко всему этому прибавить, — говорит он, — требовательную и суровую академику и спорт, — будет полная картина моего дня. Жизнь на полный ход, очень хорошо“.

Он любил кипучую работу — безделье являлось для него томительной мукой.

В письме к своей любимой девушке, за два месяца до войны, он писал: „...скорей бы в море, в мир прямого дела, навстречу трудной и утомительной, подчас скучной, но равно прекрасной, хорошей, возвышающей душу нашей работе“. Он не страшился трудностей. Он смело шел им навстречу и всегда выходил победителем.

Окончена учеба. Впереди большая дорога жизни и борьбы — крепить мощь Военно-Морского флота, воспитывать моряков, прививать им волю, выносливость, мужество и смелость, передавать знания, полученные за годы учебы. Отдать всего себя служению интересам родины. — „Бороться, бороться, это все, что мы делаем, все, что от нас требует родина“ — говорил он.

Приказом наркома Лебедеву при выпуске из училища было присвоено звание лейтенанта, по специальности — штурман-подводник.

Штурманская служба на корабле — это большое и ответственное дело, а на подводной лодке особенно, где часто приходится вести корабль по приборам вслепую, приобретает особо важное значение. Жизнь людей и корабля во многом зависит от штурмана. Лебедев прекрасно умел водить подводную лодку в шторм, днем и ночью.

Не раз молодой штурман прокладывал боевой курс подводной лодке, выходил в атаку на вражеские корабли и грозным оружием топил беспощадно врага. „Когда-нибудь, — писал он, — люди расскажут о нашей борьбе, как о делах славных... есть труды нашего корабля, то я без хвастовства рад этому, ни врага, ни своей жизни щадить не приходится“.

Поэт Алексей Лебедев — командир-подводник, не знающий страха, почувствовал в повседневной, возвышающей его душу борьбе и работе родную стихию. Здесь создавались им новые, волнующие стихи о жизни и борьбе отважных героев моря.

Стихи Лебедева помогали морякам ковать победу над кровавым врагом, и поэт верил, что как бы ни тяжела была борьба, победа будет за нами. — „Я знаю, что мы добудем победу ценою жертв и крови и лишений, но вырвем ее и сломим хребет гадине навсегда“.

Стихи, написанные им в дни ожесточенной борьбы, наполнены восторгом избранного жизненного пути, энтузиазмом работы и борьбы, они дышат патриотизмом и любовью к родине и флоту.

Лебедев безгранично любил поэзию силы.

Талант Лебедева стал расцветать.

Творчество Алексея Лебедева занимает самостоятельное место в советской поэзии. Стихи Лебедева талантливы, своеобразны и свежи, они глубоки по содержанию и подлинно патриотичны.

В трудных учебных условиях Алексей Лебедев руко-

водит литературным кружком при редакции газеты „Фрунзовец“. Сам учится писать и других учит.

Алексей Лебедев крайне был недоволен тем, что некоторые его товарищи, берясь за стихи, не хотели упорно работать над ними. — „Мне это не нравится потому, — говорит Лебедев, — что я не вижу здесь творческой мысли. Надо больше самостоятельности“.

Алексей Лебедев был высоко требовательным человеком как к себе, так и к своим товарищам. Он не мог равнодушно относиться к тем из товарищей литературного кружка, которые не хотели трудиться и творчески расти. Лебедев был предан поэзии, этого требовал и от других.

В 1939 году он выпускает первый свой сборник стихов „Кронштадт“.

Эта небольшая по объему синенькая книга, но глубокая по содержанию рассказывает о мужественных людях Красного Флота, о суровой морской профессии, о героических кораблях.

Отличительной особенностью стихов Лебедева было то, что он брал факт или эпизод, казалось бы внешне совершенно незначительный, находил за обыденными вещами волнующие идеи глубокого патриотизма.

Вспомнилось мне стихотворение о простом медном чайнике, который своим теплом согревает сменившихся с вахты краснофлотцев („Чайник“). Или другое стихотворение „Одежда моряка“. Казалось бы, что здесь особенного? Но в этом стихотворении воспеваются не сама одежда, а тот труд суровый и славный, который совершают люди, носящие эту одежду:

Ценимая особо
На службе в море синем,
Нам выдается роба
Из белой парусины;
Ей труд морской знаком,
И кто ее не нашивал,
Не будет моряком!

Имя Лебедева все более и более становилось известным не только краснофлотской молодежи, но далеко за пределами флота.

Он получал много писем от читателей, ценивших его поэтический талант. Тут письмо и от краснофлотца с Тихого океана, и от студента из Москвы, и от уральского инженера.

Сборник стихов „Кронштадт“ был встречен советским читателем (и в первую очередь флотским) тепло и радушно.

Лебедев, не останавливаясь на первой книге, берется готовить вторую книгу под названием „Лирика моря“.

В дни, когда наша Красная Армия и Военно-Морской Флот выступили, чтобы дать отпор финским белогвардейцам, патриот Алексей Лебедев, беззаветно преданный делу партии Ленина — Сталина, одним из первых подал рапорт командованию с просьбой послать его в действующий флот. Командование удовлетворило просьбу Лебедева.

Военный моряк, поэт Лебедев с чувством величайшей гордости за свою страну, за флот принимал участие в боевых операциях кораблей.

Не как „гость“, „пассажир“, а как боец стоял он на палубе миноносца „Ленин“, помогая командорам громить врагов нашей родины, прокладывая по карте боевые курсы корабля, беседовал с краснофлотцами о задаче, поставленной высшим командованием миноносцу „Ленин“. В горячее время был он всегда в среде бойцов, а в свободные минуты читал героям-краснофлотцам свои, мужеством наполненные, стихи. Краснофлотцы благодарили поэта, крепко жали ему руки, и это крепкое пожатие руки было дороже всяких похвал.

Немного было свободного времени для творчества на боевом корабле, в боевой обстановке. Но Лебедев написал много хороших стихов о замечательных людях и славных делах корабля. Это был творческий отчет поэта о первом боевом крещении.

За время пребывания в действующем флоте были написаны: „Военком“, „Разведка“, „Дивизионное движение“, „Курс — Норд-вест“, „Ночная атака“ и другие стихи.

Это стихи о героизме наших бойцов, командиров и комиссаров.

В новогоднем номере (1940 г.) в газете „Фрунзовец“ Алексей Лебедев выступил со статьей „Заветная мечта“, в которой писал: „В 1939 году я получил возможность выпустить первую книжку стихов „Кронштадт“, в которую вошли мои стихи периода 1934—1939 гг. Это важное для меня событие совпало с принятием меня в члены союза советских писателей...“

... По линии творческой — выпустить вторую книжку стихов „Лирика моря“, которая уже написана и находится в процессе редакторской обработки. Собираюсь написать задуманную мною поэму — „Флагман“. Кроме того,

меня привлекает трудная и ответственная задача — написать цикл стихов на сюжеты, взятые из „Краткого курса истории ВКП(б)“.

Но основная тема в моей жизни и моем творчестве та же, что и у сотен моих товарищей: „владеть вверенным нам оружием, быть беззаветно преданным партии и, с именем Сталина, громить врага везде, где прикажет родина“.

Диапазон работы Лебедева был поистине огромный. Он учился, руководил литературным кружком, писал стихи, активно участвовал в общественно-политической жизни.

Колоссальная работоспособность Лебедева давала ему возможность справляться со всеми этими задачами, и как еще справляться! Он начал осуществлять задуманную поэму „Флагман“.

Лебедев был командиром с глубоким теоретическим знанием своего дела. Его эрудиция, верное классовое чутье оказывали большую помощь в его поэтической работе.

Его стихи отличались метким, образным, ярким красивым языком. Поэт считал своим долгом, своей обязанностью, своим призванием строить и крепить боевые единицы Военно-Морского Флота нашей родины. Отсюда его неистощимая ненависть к врагам, его высокий пафос в произведениях о нашем флоте, героических людях флота и боевых кораблях, о нашей родине, которую он по-сыновнему трогательно любил и которой так гордился.

В изданной книге 1940 года „Лирика моря“ в стихотворении „Ночная атака“ он писал:

Берясь за поручень стальной,

Ты глянул в компас, —

Перед великою страной

В ответе ты сейчас.

За миноносец, за людей,

Во мгле морских пустынь

Ты скажешь сердцу:

„Не слабей“,

Усталости:

„Покинь“.

Продуман поиск, встреча, бой,

Задача вручена,

И родина сейчас тобой

Руководит одна.

Стихи Алексея Лебедева были полны заботы о нравственном и моральном облике молодого краснофлотца, будущего командира. Своими стихами Лебедев помогал готовить

нужные кадры нашему флоту, он вселял бодрость, смелость, жизнерадостность, решимость и преданность родине.

Многим обязана ему флотская молодежь и интеллигенция. Он был поистине самым отзывчивым и самым достойным поэтическим выразителем дум и чувств нашей флотской молодежи.

Грянула война. Весь советский народ и все прогрессивное человечество мира выступило против гитлеровского варварства, грабежа и насилия.

Красный флот вышел для отпора врагу. Лебедев с величайшей радостью идет на подводную лодку, откуда будет громить зарвавшегося врага.

Алексей Лебедев получает назначение на должность одного из командиров „БЧ“ на подводную лодку Краснознаменного Балтийского флота. Поэт-командор своими стихами воспитывает у краснофлотцев боевой наступательный дух и жгучую ненависть к врагу. Своим личным примером вселяет мужество в личный состав подводной лодки.

В одном из писем он описывает, как подводная лодка, укрываясь от врага после выполнения своего боевого задания, ушла на глубину и легла на твердый грунт. В лодке нехватало воздуха, мысли деревенели, но Лебедев не терял надежды, что проклятый враг, стерегущий их, уйдет, и тогда они спокойно всплывут на поверхность, и он сможет снова послать письмо на великую землю.

Если придется погибнуть, то знайте: „...что я пал за дело своего отечества, мечтая только об одном, чтобы это в какой-то степени приблизило нашу победу“.

Он пал смертью храбрых в расцвете творческих сил, молодой, полный неисполненных замыслов.

Лебедев был славным командиром Военно-Морского Флота, певцом Краснознаменной Балтики.

Тяжело, очень тяжело думать, что нет среди нас стройного, всегда подтянутого, жизнерадостного, с улыбающимся лицом Алексея Лебедева.

Никогда больше не услышать его громкое и резкое „Здравствуйте!“ и не почувствовать, от чистого сердца, пожатие руки.

Но в памяти всех, кто знал его, осталось светлое воспоминание о нем — отважном моряке, талантливом поэте.

ПОХОД НА „ВЕСТ“

То был рассвет почти неуловимый,
Чуть просветлел синеющий простор,
И тонкий клуб нетающего дыма
Замечен был на фоне дальних гор.
То шли враги, хранимые конвоем,
Тяжелые большие транспорта.
И напряглась команда перед боем.
Рты окаймила жесткая черта.
Звала отчизна! Это помнил всякий.
И медленно пополз на цель визир.
На узких флагах дьявольские знаки
Отчетливо увидел командир.
Уже штыки проклятого десанта
На палубах блестели там и тут.
Стволы орудий, тюки провианта —
Все видел он в течение двух минут.
Команда — „залп!“ И ринулись торпеды,
Как стая демонов, исполненных огня
И окрыленных волею победы,
Как молнии в лиловой дымке дня.
Скользнула стрелка по секундомеру.
Мы слушали, дыханье затаив.
И он пришел, потрясший атмосферу
И глубь морей потрясший, грозный взрыв.
Потом я помню взрывы бомб глубинных,
Стремительный уход на глубину.
Мы уходили. Выше были мины.
И киль скользил по илистому дну.
А там, в выси, из рук не выпуская,
Дробя в щепу и днища и борта,
Громила авиация морская
Фашистского десанта транспорта.
Так бьет врагов балтийская порода,

Так пишется истории скрижаль,
И поглощают яростные воды
Всех тех, кого не истребила сталь.

НОЧЬ НА НЕВЕ

Когда уснет великий город,
Когда сверкнут прожектора,
Над Петропавловским собором
За тучей всходит тень Петра.

Идет за Нарвские ворота,
Камзол от ветра вновь крылат.
Стучит дубинкой в плиты ДЗОТ'а
И в дикий камень баррикад.

Глядит на линии обстрела,
На сотни гаубиц стальных.
И циркуль поверяет делом
Путиловских мастеровых.

Труба подзорная поднята,
Вдали залив сверкнул, как лед,
И снова Петр гранит Кронштадта
Орлиным оком узнает.

И шепчет тень: „Добро, злодеи,
Добро, немецкое дерьмо!
И ныне немцы или свеи
Россию клонят под ярмо.

Хоть враг силен, сие не будет,
Обломим ваши палаши.
Зело орудия и люди
У нашей силы хороши“.

И вдруг внезапный гул зыбучий,
И то ль прожекторов игра,
То ль чертит пламенем по туче
Клинок стремительный Петра.

И голос оглашает город,
Гремит над камнем мостовых:
„Генералиссимус Суворов,
Я горд за правнуков твоих“.

БУХТА БЕЗМОЛВИЯ

Здесь спит песок. Здесь спит лазурь морская,
В полукольце гранитных серых скал.
Пройдет гроза, бушующая и сверкая,
Ударит в берег океанский шквал.

Но здесь вода тиха, как сон младенца,
Так берег пуст, и так ясна заря,
Как в оны дни, когда суда Баренца
В зеленый мрак бросали якоря.

Безмолвием зовется бухта эта.
И над водой и в предраассветной мгле
Видна далеко старая примета —
Замшелый крест, стоящий на скале.

Я не прошу себе от жизни много,
Ни нежности, ни лишнего тепла.
Но я хочу, чтобы моя дорога
Опять меня к той бухте привела.

Придти и лечь опять на камень белый
И снова ждать минуты дорогой,
Чтоб тишина великая владела
Землей и морем, телом и душой.

Март 1940 г.

ПАМЯТНИК

Азийский зной безумствует, но синий
Безоблачный прохладен горизонт.
Здесь был Эфес, стоял здесь храм богини,
Сияя чистым мрамором колонн.

Стремился в высь полет победных линий,
Но час настал, Дианы храм сожжен.

Текли века, и красный прах пустыни
На горсть углей ветрами нанесен.

И я, ревнуя к славе Герострата,
Тот памятник, что воздвигал когда-то,
Разрушил, сжег до тла в своей груди.

Горит огонь души моей, не грея,
И ветра нет, чтобы его развеять,
И не зальют его углей дожди.

6 мая 1940 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О КРЫМЕ

Вот час раздумья и свободы,
Полета радостной мечты,
Хрустально голубые своды
На кипень моря оперты.

Широколиственным платаном
Веранды тишь осенена,
И дым клубится над стаканом
Кизильно-терпкого вина.

И вечер на землю вступает
И говорит звезде: „Взойди“.
И память вновь перебирает
Златые струны Саади.

1940 г.

ТЕБЕ

Мы прощаемся в Кронштадте
У зыбких сходен, а потом
Рванется к рейду легкий катер,
Раскалывая рябь винтом.

И облака косою тенью.
Луна подернулась слегка,
И затерялась в отдалении
Твоя простертая рука.

Опять шуметь над морем флагу.
И снова, и суров, и скуп,

Балтийский ветер сушит влагу
Твоих похолодевших губ.

А дальше врозь путей кривые,
Мы говорим: „Прощай!“ стране.
В компасы смотрят рулевые,
И ты горюешь обо мне.

Но если пенные объятия
Назад не пустят ни на час,
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас.

Не плачь, мы жили жизнью смелых,
Умели храбро умирать,
И на штабной бумаге белой
Об этом можешь прочитать.

Август 1941 г.

ЕЕ ПИСЬМО

Возможно ли, чтоб годы эти
Щадили нас, но вновь встает
Апреля горьковатый ветер,
Тревожный шум воскресших вод.

Возможно ли в разлуке дальней,
В надеждах, в помыслах, в крови
Хранить огонь первоначальный
Наивно-горестной любви.

А я, как ива в пору злую
Октябрьских бешеных ветров,
Клонюсь под градом поцелуев,
Горячечных и нежных слов.

За вами бури и походы,
И можно ли, мой милый друг,
Вознаградить себя за годы
Былых и будущих разлук?

О, потеплевший под руками
Чугун перила ледяной,
Нет, не смеюсь я над слезами,
В тот вечер пролитыми мной.

Теперь мне легче и свободней,
Отбушевал внезапный гром.
Я не могу писать сегодня
Тебе о чем-нибудь другом.

1940 г.

ТРАВА ЗАБВЕНИЯ

Крута и чиста синева
Над краем волн литых,
Забвенья горькая трава,
Растешь не здесь ли ты?

Да здесь, где отблески яри
Зеленоватых льдов,
Ты прорастаешь костяки
Разбившихся судов.

Соцветье в лунном серебре,
Но клуб корней багров,
Впитавший горечь всех морей
И ярость всех ветров.

И мореходы говорят,
Что только раз нль два
В сто лет приоткрывал накат
Забвенья острова.

Тогда спеши, тогда лети,
В тугую выбрав шкот,
Держи по млечному пути
К дуге больших широт.

Оставишь за кормой восток,
И вот, туман прорыв,
Сверкнет из мрака лепесток
Забвения травы.

Сорви и шляпку крень опять,
И правь в морскую соль.
Владея счастьем, забывать
Свою любовь и боль.

1939 г.

ДУШЕ ОДИН КОРОТКИЙ МИГ

Душе один короткий миг —
Лететь к сверкающему гроту.
Всевластно воскрешает Григ
Одну ликующую ноту.

Мои несбыточные сны
И страстные желанья бунта —
Они опять воскрешены
Волшебным посохом Пер-Гюнта.

Не за тебя ли дрался я,
От крови потемнели скалы.
Меня готова мчать ладья
В пределы огненной Валгаллы.

Дорога к небу горяча,
Но там я буду биться снова.
О нет, не вынимай меча
Из сердца гордого и злого.

Отдай же воина костру,
Да хлынет зной из сучьев ели,
И вырви меч, и я умру
В круженье огненной метели.

Но даже в тверди голубой
Бороться я не перестану,
Любить и странствовать с тобой
По золотому океану.

23 июля 1941 г.

МОРБЕНАН—МОРЕ МЕРТВЫХ (Мопассан)

Ты ждешь меня. Ты ждешь меня.
Владеет сердцем грусть.
И по стеклу, кольцом звеня,
В твоё окно стучусь.

Звезда холодная, блести,
Гляди сюда в окно.

Ты не грусти, ты не грусти, —
Я мертв уже давно.

В зеленоватой мгле пучин
Корабль окончил бег,
И там лежу я не один,
И каждый год, как век.

Не внемлю, как года бегут,
Не внемлю ничего;
Кораллы красные растут
Из сердца моего.

И те, кто гибнет на волне
В тисках воды тугих,
Они идут сюда на дно,
Чтоб лечь у ног моих.

Кому же выпал жребий жить,
Улова не пропить,
Тебе коралловую нить
На ярмарке купить.

Купил, ничем не дорожа,
И счастлив и влюблен,
Как взмахом светлого ножа,
Обвел вокруг шеи он.

Меня не помня, позабыв,
Храни его любовь,
Не зная, что принес прилив
Мою живую кровь.

Май, 1941 г.

ПЕРЕЖИВИ ВНЕЗАПНЫЙ ХОЛОД

Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души.

А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога — море,
Моя могила и купель.

Август 1941 г.

Л. Кудрин

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ ПУТЬ БАНДИТА

Жили два родные брата —
Рыжий Ганс и рыжий Фриц.
В их истории богатой
Нет и тени небылиц.
Были братья неразлучны,
Двойники — ни дать, ни взять.
Папа был ариец тучный,
И была арийкой мать.
Мирно день за днем катился,
И была бы жизнь, как сон...
Но в Европе объявился
Герр „Эрзац-Наполеон.“
В странах маленьких богатых
Захотел устроить „блиц“.
Были отданы в солдаты
Рыжий Ганс и рыжий Фриц.

Ну, а дальше — путь избитый:
Пьянство, карты, грабежи.
Для фашистского бандита
Самый правильный режим.

Поживиться братья рады.
За разбой в чужих местах
Фюрер выдал им награды —
Два железные креста.

За убийства и побои
Безоружных мирных лиц
Производятся в герои
Рыжий Ганс и рыжий Фриц.

Папа в них души не чает,
Хвалит деток за погром,
И посылки получает
Он с награбленным добром.
Как по маслу шло бы дело,
Был бы он миллионер,
Если б фюрер оголтелый
Не полез в СССР.
..Там в России, — фюрер кличет, —
Много сала и яиц!
И помчались на добычу
Рыжий Ганс и рыжий Фриц.

Только здесь не слишком нежно
Немцев встретила страна,
Тут — в ладу с метелью снежной
Всенародная война!
И столкнулись в лоб убийцы
С партизаном и бойцом.
Мы осыпали арийцев
Метким, сталинским свинцом.
Завывает, воет вьюга...
В снег уткнулись носом ниц,
Получили по заслугам
Рыжий Ганс и рыжий Фриц.

Западный фронт.



„Новый порядок“. Картина ивановского художника Щеглова А. П.

НОЧЬ ОТМЩЕНИЯ

Он дверь захлопнул и приставил
К скобе лопату, и поджег.
И по стене огонь на ставни
Змеистой струйкою потек.

А деду все еще казалось,
Что красный гребень невысок,
Что слишком много оставалось
Огнем нетронутых досок.

И дед опять бросался к хате,
И поджигал и тут и там.
В горящей хате на полатах
Храпел немецкий капитан.

И он не знал, исполнен злобы,
Что ночь отмщения пришла.
Гори же, дьявол! Все равно бы
Тебя земля не приняла.

Она все вынесет, святая,
Моя советская земля.
Отхлынет скоро вражья стая,
И ливень вымоет поля.

И вновь взойдут над полем бранным
Лучи живительной зари.
И сбережет земля курганы,
Где спят ее богатыри.

Он будет солнечным, тот ливень,
Вернется дед из дальних мест.
И срубит внук его счастливый
Последний чужеземный крест.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Калило солнце. Обдавая жаром,
День задышался. Ухало вдали.
Но знали мы, нам это не казалось,
Что та земля, с которой мы ушли,
Как женщина, нам верной оставалась.
И гарью пусть несло от наших хат,
Пусть разливалось по дорогам горе,
Мы верили, что мы придем назад,
Врагов поглотит огненное море...
Народный гнев наш прогремел грозой,
В нас ненависть священная пылала:
Здесь каждый камень был умыт слезой
И обогрен был нашей кровью алой.
Но как судьба была ни тяжела,
На зло врагу, на зло смертям и бедам,
Мы были тверды, тверды, как скала,
И ярый гнев нас вел вперед к победам.

А. Марголина

ПИСЬМА ИЗ ЛЕНИНГРАДА

ЗЕМЛЯКИ

В меру моих сил я попытаюсь рассказать о величии нашего славного города в дни самых тяжких испытаний, о любви к нему, одинаковой и постоянной, во всех концах Советского Союза.

Вспоминается счастливое мирное время.

В какой самый отдаленный угол нашей необъятной родины ни заедешь, везде встретишь земляков-ленинградцев.

В алтайском поселке Онгудае секретарем райкома ВКП(б), гостеприимно приютившим нас, нескольких ленинградцев, оказался ойрот, постоянный житель тех мест, но в то же время и ленинградец — воспитанник института Восточных народов.

Мы вошли в теплую просторную комнату, на стене которой висел большой портрет Кирова и несколько видов Ленинграда.

Жена секретаря — темнорусая русская женщина, узнав земляков, кормила нас, привчала, согревала горячим чаем. Когда мы согрелись, просохли, — пошли разговоры о Ленинграде.

— Да, — сказал секретарь райкома. — Может быть мне никогда уже не придется туда вернуться. Здесь работы много. Очень уж плохо мы жили раньше, да и теперь еще, видите, не все моются, — он с укоризной посмотрел на пегие от подтеков щеки нашего проводника. — Только что кочевья на землю посадили. Хлеб научили сеять и печь. Словом, дела — край непочатый.

— Но забыть Ленинград — никогда не забуду. Я почти таким же, как этот товарищ, — он опять показал на нашего проводника, — туда приехал. Меня надо было учить

всему. И учили. Чтобы я, в свою очередь, уменьшил, сократил расстояние между Ленинградом и Онгудаем.

Видно было, что он это делает, и с успехом.

* * *

Вспоминается еще один „ленинградец“, тоже алтайского происхождения. В его судьбе нам даже удалось сыграть некоторую роль. Паренок был сыном агронома селения Чулушман. Эта профессия в их роду была наследственной. И когда Николаю исполнилось 18 лет, семейному совету предстояло выбрать город и институт, куда надлежало его отправить.

Отец Николая — Николай Николаевич — тоже в свое время учился в Петербурге. Потом судьба его забросила в дикое и прекрасное Чулушманское ущелье. Он помнил еще студенческие беспорядки и высокую фигуру Менделеева. Естественно, что без особого труда, с помощью отца нам удалось настоять на том, чтобы для обучения Николай был избран Ленинградский сельскохозяйственный институт.

По приезде в Ленинград Николай изредка забегал к нам и, захлебываясь, рассказывал о лабораториях и опытных станциях. А потом он исчез, увлеченный своей новой ленинградской жизнью.

Исчез, однако, не навсегда.

* * *

Байрам-Али, или Старый Мерв, — маленький городок в знойном Туркменистане. У него две достопримечательности — семь старинных городищ, в том числе и могила Чингисхана, и большой хлопковый совхоз, устроенный в бывшем имении Николая II.

Кого только нельзя было увидеть среди многоплеменных рабочих этого совхоза? Все сохраняли свои обычаи, свои национальные костюмы, головные уборы, свои жилища.

Мы встретили одного человека в европейском белом костюме. Это был тот самый сын агронома, а теперь уже и ученый, агроном Николай, который некогда выехал из алтайского селения Чулушман. Жизненный путь его, начавшись в Ойротии и пройдя через Ленинградский сельскохозяйственный институт, привел Николая в Туркменистан. Это он обучал туркменов культурному ведению хлопкового хозяйства.

Он был очень доволен своей судьбой, гордился сложной и очень важной работой, своим совхозом, любил свою новую родину.

Он был благодарен Ленинграду, сделавшему из него — наивного и дикого паренька — ученого-агронома.

Совсем недавно мне пришлось встретить Николая еще раз — в землянке штаба подразделения, на передовой позиции Ленинградского фронта. Он был командиром этого подразделения, закалился уже в боях и получил второе отличие. Он защищал Ленинград — свою родину, которой был обязан столь многим, которую любил как верный, преданный сын.

Мои встречи с земляками и старыми знакомыми в этой землянке не ограничились одним Николаем.

Второй мой знакомый был начальник клуба этого же подразделения. Воспитанник Ленинградской академии художеств, он заведовал музеем в Ярославле, беспрестанно сражаясь с местной администрацией за сохранность памятников старины.

Теперь он, с таким же темпераментом, требовал бумаги для стенгазеты, двух дополнительных баянов и времени — для проведения вечера самодеятельности. И это был человек ленинградской закалки, доброволец, настоявший, чтобы его отправили на Ленинградский фронт.

Секретаря Онгудайского райкома я тоже встретила в одном из ленинградских госпиталей. Он пришел защищать Ленинград.

Когда я вспоминаю всех их, моих соотечественников и земляков, я укрепляюсь еще более в своей незыблемой вере в нашу непобедимость, в неприступность нашего замечательного города, форпоста культуры для разноплеменного населения нашей страны.

ЕАЛЕНКИ

Девочку с двумя косичками не знал никто во дворе. Она недавно переехала в этот дом. Ее с матерью временно эвакуировали из другого района.

Когда на территорию дома упали 54 зажигательные бомбы, их тушили все. Дворник, дежуривший у ворот, прибежал сразу же с двумя ящичками песку. По всем лестницам жильцы громыхали ведрами.

Когда потом стали составлять для райсовета список,

кто потушил бомбы, оказалось, что в список надо было бы включить всех жильцов.

Однако и на этом фоне общей решимости и самоотверженности девочка выделялась. Она несколько не трусила, совсем не суежилась, делала именно то, что нужно.

Все бомбы затушили. Тревога кончилась. Жильцы немножко еще постояли на дворе. Потом стали расходиться по квартирам. И девочка пошла к себе. А навстречу ей мать, сердитая, пресердитая.

— Ты чего же свои валенки не вынесла? — спрашивает.

Девочка даже удивилась:

— Какие еще там мои валенки, когда дом мог сгореть!

А в доме этом, может быть, кроме валенок у них с матерью ничего своего не было. Они оставили свои вещи в той квартире, где жили постоянно.

Тем-то и сильны ленинградцы, что думают прежде о родине, а потом о своих валенках.

* * *

Эта маленькая девочка напомнила мне двух раненых бойцов и просьбу, с которой они ко мне обратились.

Я читала в их палате свои рассказы. А когда кончила, молоденький веселый боец, его койка была ближе всего ко мне, спросил:

— Вы бываете на фронте?

— Бываю, — улыбнулась я.

— Можно тогда вас попросить? Только вы постарайтесь выполнить нашу просьбу. Это я от себя и от него говорю, — он показал на своего соседа, бойца средних лет, со смуглым, очень серьезным лицом. — Словом, мы оба просим. Вот, понимаете, давно уже дела у нас пошли на всех фронтах отлично. Каждый день успехи. Мы тут, в госпитале, следим тоже за всеми военными новостями, вы не думайте! А на нашем участке затерло. Вот меня там ранили. И его (он показал на смуглого). И еще соседа оттуда же привезли. У нас у всех к вам просьба: когда немца вышибут из... — он назвал пристань на Неве в районе Северной дороги, — вы попросите, чтобы вас туда послали и обязательно посмотрите, какие там у немцев укрепления... Почему их трудно оттуда вышибить? А потом, когда придете к нам еще, расскажете. Вы знаете, я целыми ночами об этом думаю. А вдруг... — он задумался... — мы уже выпишемся из госпиталя до тех пор. Ну, если выпишемся, так сами вышибем.

Мне полностью передавалась уверенность бойцов, забывающих о своих ранах в думах о победе, уверенность их в том, что нет такого места на нашей земле, откуда не будут вышиблены немцы.

Ленинград — это фронт, ленинградцы понимают эти слова так, что каждый из них считает себя мобилизованным, воля его собрана на борьбу, личное забывается им для общественного.

Причем самое замечательное и самое неповторимое в героизме ленинградцев — это то, что героизм их массовый, повседневный, плотно вошедший в быт. Это героизм не одиночек, а населения целого города.

Шуру Лештукову — фрезеровщицу Н-ского завода — раньше никто бы не считал способной к какому-нибудь особому подвигу. Девушка любила погулять, пофрантить, и все в цехе были уверены, что свою новую шляпу и лакированные туфли Шура не променяет ни на что. Получилось однако иначе. В этот день шурина смена выполняла срочное оборонное задание. В конторке у начальника цеха прозвонил телефон.

— Лештукова, это тебя, — позвал начальник. Звонили из домовой конторы. В шуриной флигель попал снаряд. Загорелась ее квартира.

— Пожар у меня дома, — сказала она начальнику, мысленно представляя себе, как горят ее шкаф и шифоньерка, со всеми платьями, туфлями, шляпами.

— Ну, что ж, надо тебя отпустить. Сходи за сменным мастером. Подумаем, как тебя заменить.

Пришел мастер. Подумали, — с заменой ничего не выходило.

— Ладно, иди, — сказал начальник. — Устроимся как-нибудь. А то еще наряды твои все сгорят, — он тоже знал о шуриной слабости.

— Нет, не пойду, — сказала Шура. — Раз нечем заменить, нельзя уходить. Шутка ли, какой заказ! Пусть все горит! Небольшая важность.

Шура осталась у станка.

Как Шуру Лештукову, война изменила очень многих людей. Вот ученик VII класса 69 школы Эдуард Кремлев.

До войны он считался очень трудным мальчиком, излишне самолюбивым, своевольным..., а осенью он зара-

ботал почетное звание окопного патриота. Он четыре раза добровольно ездил на оборонную стройку. Даром, ведь, такого звания никому не дадут. И Эдуарду оно нелегко досталось. Десятки километров нешей ходьбы. Спал на голой земле. Попадал под обстрел, под бомбежку. Котел однажды потек, просидели целый день без еды. И несмотря на все это, Эдуард, который раньше даже задачи в учебнике любил выбирать по собственному желанию, беспрекословно выполнял все распоряжения бригадира. А вернувшись из каждой своей поездки, немедленно вызывался ехать со следующей партией.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Все мы живем в военное время. Нигде, может быть, это не ощущается так ежеминутно, ежесекундно, как в осажденном Ленинграде.

Однако и здесь разные люди понимают значение слов „военное время“ по-разному.

Наш управхоз Александр Васильевич произносит эти слова, правда, в ином порядке — „время военное“, он как бы обороняется ими от всех справедливых нападок и упреков, которые градом сыплются на него. По его вине в доме испорчено паровое отопление, а он говорит: „Время военное“, не до отопления, мол! Водопроводные трубы замерзли, а он, чем бы позаботиться об их починке, — также разводит руками и многозначительно произносит: „Время военное!“.

А еще Александр Васильевич очень любит защищаться от необходимости что-нибудь делать ссылками на скудность хлебного пайка.

Трудно, еще на много труднее жилось бы и в доме и в городе, если бы для всех военное время было бы только скидкой, „спасательной“ формулой, оправдывающей всяческое разгильдяйство, лень; безответственность. Но Ленинград не был бы Ленинградом, а ленинградцы не были бы ленинградцами, если бы такие Александры Васильевичи не выделялись среди них, как белые вороны.

В одно пасмурное утро кочегарка нашего дома оказалась отпертой, и в нее вошел один из жильцов — главный инженер большого Н-ского завода.

— Котел, наверное, большой есть дома для супа, тащите

его сюда скорее, — сказал он деловым и повелительным тоном. — Раз военное время, значит, всем нам надо быть немножко робинзонами, — пояснил он свое распоряжение. — Придется обходиться кустарными средствами. Но не даром же я начинал свою карьеру слесарем-водопроводчиком, и начинал не когда-нибудь, а в 1920 году.

И действительно, все мы — жильцы дома — почувствовали себя настоящими робинзонами, когда собственными силами наладили отопление и водопровод, когда, пользуясь детскими санками, как основным и монопольным видом транспорта, произвели полную очистку двора, когда с помощью райсовета сместили Александра Васильевича.

* * *

Есть, конечно, люди, которые понимают военное время как время жестокое, бесчеловечное, дающее право думать только о себе, впиваясь в глотку товарища. И действительно, что греха таить, бывают в Ленинграде такие случаи, когда воруют хлебные карточки или тащат у соседей продукты. А что это значит для обокраденного, объяснять не нужно.

Но вот в одной из ленинградских аптек поняли значение слов „военное время“ совсем иначе. Самый старый из фармацевтов аптеки, одинокий, рассеянный, близорукый человек, потерял все свои продовольственные карточки. И как бы вы думали, что сделали его товарищи? Они установили такую систему. Каждый день один из сотрудников аптеки уступал ему свою хлебную карточку. А когда надо было выделить ему сахар, мясо, жиры, попросили бухгалтера: именно он мог это сделать лучше всех, разделить все пайки так, чтобы потерявший карточки получил долю, равную доле всех остальных.

* * *

И в мирное время никто никогда не радовался лишним жильцам. Ну, а в военное время, в условиях блокады, когда из-за выбитых стекол, из-за трудностей с отоплением, освещением жить почти все стали теснее, когда устают люди больше, нервы у них напряжены, естественно, казалось бы, чтобы и Ольга Михайловна, жившая вместе с матерью и отцом в десятиметровой комнате, резко запротестовала бы против вселения к ней целой большой семьи.

Как только эта несколько резкая, но участливая де-
вушка узнала, что в боковой флигель попал снаряд, она
пришла в контору и попросила вселить к ней сколько
найдут нужным пострадавших жильцов.

— У нас, конечно, тесновато, — как бы прося проще-
ния, сказала она, — но зато спокойно, детей нет.

Так они и жили, новые жильцы и Ольга Михайловна
со своими стариками, — как в тропическом лагере: на
ночь не только ставили раскладушку и сдвигали стулья,
но еще и подвешивали два гамака. Зато очень дружно
жили.

А однажды Ольга Михайловна, вернувшись домой, по-
чему-то замешкалась в передней, потом вошла в комнату
и решительно сказала:

— Ну, уж ругайте вы меня, не ругайте, сама знаю,
что тесно у нас, но иначе поступить не могла. Понимаете,
никого у девчужки не осталось, просто-таки никого...

И Ольга Михайловна внесла в комнату заплаканного
трехлетнего ребенка.

СТЕКЛА БУДУТ ВСТАВЛЕНЫ

Тому, кто оставил Ленинград, хотя бы в августе
1941 года, очень тяжело было бы вернуться туда сейчас...
Как человеку, который покинул любимое существо моло-
дым, красивым, здоровым, а теперь принужден увидеть
его перенесшим тяжелую болезнь.

Окна, забитые досками, фанерой, папками. Зияющие
провалы лестничных клеток. Обгоревшие стены. Порван-
ные провода. Мертвые трамваи на безжизненных путях.
Саночки, саночки, саночки с водой, продуктами для ма-
газинов, людьми, которые не в состоянии идти сами. Про-
хожие, закутанные до ушей, потому что им приходится
ходить очень много пешком, потому что они ослабели и с
трудом переносят холод...

Квартиры едва освещены коптилками, едва отоплены
„буржуйками“. Учреждения работают с перебоями. Газе-
ты выходят не каждый день. Почта доставляется только
в домовые конторы.

Недавно еще на фронт ездили на трамвае, а сейчас во
многих местах фронт отодвинулся, но зато на другие его
участки ходят пешком.

Разве это тот Ленинград, где милиционеры в бело-

снежных перчатках регулировали трамвайное и автомобильное движение, где целые комиссии художников обсуждали, в какие цвета красить дома, где обслуживание населения — сервис по-американски — было налажено до того, что не только любые товары и продукты доставлялись на дом по телефонному звонку, но телефонный секретарь отыскивал вас в любое время, в любом месте и сообщал, кто и зачем звонил вам?

Не тот Ленинград, но и тот, — скажем мы, потому что знаем очень хорошо: при первой возможности трамваи пойдут, и дома будут отстроены, еще раньше включат все телефоны и электрический свет, и паровое отопление; во всех учреждениях откроются все окошечки, и везде фанера будет вновь заменена стеклами. Горько другое: мы не досчитаемся многих славных земляков наших: юношей, погибших на фронте и в городе на боевых постах, стариков, не вынесших недоедания, детей, убитых варварскими бомбами и снарядами. Этого, как и все страдания мирных жителей наших, мы не простим фашистским извергам.

Но одного не удалось фашистам добиться и никогда не удастся добиться: чечевичная похлебка не заставит ленинградцев отдать свой город врагу. Истерзанный и измученный, он стал им еще дороже. Ленинградцы не утратили ни одного из своих качеств советских людей: этого не в силах были сделать никакие бомбардировки, никакие обстрелы.

Пусть ужасы блокады увеличатся во много раз, ленинградцы будут также защищать свой город, охранять свои заводы и дома, выполнять оборонные заказы, перевязывать раненых...

Не только предприятия, но и театры, и кино работают в осажденном городе, и публика, в пальто и галонах, с замиранием сердца следит за событиями, развивающимися на сцене, черпая в подвигах героев 1812 года и других войн примеры для себя.

В ботаническом саду охраняются растения. Молодые ученые защищают диссертации на соискание ученых степеней докторов и кандидатов биологических, сельскохозяйственных и прочих наук. В родильных домах на свет появляются новые граждане.

Жизнь идет, и Ленинград остался Ленинградом, тем первенцем революции и хранителем ее славных традиций, тем знаменем культуры и высокой техники, которым он

был всегда. Это заставляет еще больше гордиться им, еще больше верить в то, что как ни тяжелы страдания ленинградцев, они преходящи, а сила духа их непреодолима, а слава о подвигах их не угаснет никогда.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ЖАННЫ Д'АРК

Странно даже думать теперь, когда редко встретишь на улице мужчину в штатском, когда даже маленькие дети чудесно знают слова: „тревога“, „бомба“, „самолет“, „снаряд“, что настанет спокойное, действительно мирное время, и мы будем вспоминать о тяжелых и героических днях, которые мы переживаем сейчас, как о горьком, но славном прошлом, будем рассказывать о них следующим поколениям в своих мемуарах участников и очевидцев.

Однако это время наступит обязательно, наш народ выйдет победителем в великой отечественной войне с гитлеризмом.

История впишет имена славных летчиков, артиллеристов, минометчиков, моряков, танкистов, грудью обороняющих подступы к Ленинграду, но она не обойдет молчанием и тех ленинградских рабочих, которые под бомбардировкой и артиллерийским обстрелом перевыполняют нормы, изготавливая орудия и боеприпасы для фронта, и героинь оборонной стройки, и ленинградских сандружинниц, показывающих чудеса отваги и человечности, и ленинградских домохозяек, которые с настоящим бесстрашием бойцов и мастерством пожарников гасят зажигательные бомбы, и ленинградских матерей, которые безропотно отпускают на сторожевые посты своих подрастающих сыновей.

Дух ленинградцев и Ленинграда не сломить никогда и ни чем.

Жизнь ленинградских женщин стала труднее, напряженнее, возросли их обязанности, усложнился их быт.

Ночь, но в каждом доме женщины не спят. По сигналу „воздушной тревоги“ открывается санпост, в нем дежурят женщины — начальник и бойцы санитарного звена. Порядок и покой в бомбоубежище охраняет женщина-комендант. В домовом штабе МПВО дежурят начальник штаба, обычно женщина-домохозяйка, начальник звена связи и социалистического порядка, обычно тоже женщина, школьники старших классов — связистки. На чердаках вместе с мужчинами стоят женщины пожарники.

Но какой бы трудной и беспокойной ни была ночь утром начинается напряженная трудовая жизнь.

И домохозяйки не сидят на кухне. К заботе о муже и детях они присоединили с самого начала войны заботу о большой семье своего города. Они обходят квартиры, собирая теплые вещи для бойцов, металлический лом в фонд обороны. Они строят оборонные сооружения. Они бесплатно дежурят в госпиталях. Многие из них заменяют ушедших на фронт мужей, братьев, сыновей.

И кроме того, ленинградские женщины находят еще время ходить в театр, дружить, любить. Укрепляя дух мужчин, они еще смеются и шутят.

Только тот, кто в эти тяжелые героические дни был в Ленинграде, кто сам спускался в бомбоубежища, кто возил воду на саночках, кто ходил пешком через весь город, кто видел самоотверженную работу сандружин и групп самозащиты, сможет рассказать настоящую правду о тыловом героизме ленинградских женщин. О них слагаются уже стихи, песни, устные сказания. У Франции была одна Жанна Д'Арк, а в Ленинграде их много.

СОВЕТСКАЯ СУДЬБА

Все эти люди встретились случайно, в отсеке бомбоубежища. „Тревога“ была тихая. Разговор шел легко. Мне удалось его незаметно подслушать.

— Да, — сказал военный с проседью в густых волосах. — Теперь я ленинградец коренной. Город мне свой — родной. Грязь на улице — ругаюсь. С трамваем непорядок — в трампарк позвоню. Ну и защищать его, как мы все, конечно, готов до последней капли крови. А ведь первый-то раз я в Ленинград попал, можно сказать, зайцем.

— Как это зайцем? — спросил мальчик лет пятнадцати.

— А вот послушай. Было это еще в 1916 году. Числился я в Киевском коммерческом институте вольнослушателем.

— Экономистом хотели быть? — сказала чуть-чуть раскосая девочка в форме ремесленного училища.

— Вовсе нет. В том-то и дело, что не принимали нас больше никуда.

— Кого это „нас?“ — не понял мальчик.

— Евреев. И вольнослушателем я был тоже не по своей воле, пятипроцентная норма в институте была ис-

черпана, и студентом меня не зачисляли. Как раз поэтому я зайцем-то в Ленинград, тогда он еще Петроградом назывался, и попал. Делегатом такие же, как я, вольнослушатели, послали — хлопотать в министерстве.

— Денег на билет, наверное, не было? — сочувственно спросил мальчик.

— Деньги-то были. Товарищи на дорогу собрали. Еще мне коробку копченой скумбрии и киевского варенья на вокзал принесли. А зайцем я себя называю потому, что у меня правожительства не было...

— Какого еще такого правожительства? — опять удивился мальчик.

— А ты помолчи, не перебивай, не забегай вперед, — одернула его женщина в оренбургском платке.

— Был такой Мартыныч, — продолжал военный. — Он за пятерку нас всех, у кого правожительства в Петербурге не было, укрывал, а больше, я думаю, от доброго сердца. Риск, ведь, большой был. Евреи не имели права жить в Петербурге, — объяснил он специально для мальчика.

— Как, все евреи? — опять не вытерпел тот.

— Почему же все? Купцы первой гильдии жили. И лица с высшим образованием тоже. Но я вот из-за этого самого высшего образования и приехал. Спасибо, одна знакомая курсистка к Мартынычу устроила. Бегал я в министерство, по разным благотворительным комитетам, а больше всего с черного хода — к двум дамам. Одна была приятельница министра, а другая — начальника департамента...

— Ну и выхлопотали? — спросила женщина в платке.

— Выходил. С триумфом вернулся. Только города я тогда почти и не видал. Я потом уже в Ленинград по настоящему переехал, при советской власти.

— Экономистом теперь работаете? — опять вмешалась девочка.

— Нет, архитектором. Пришлось взрослым человеком переучиваться. Зато тем, чем хочу, занимаюсь, то-есть до войны занимался. А теперь — видите, — он показал на свою форму.

Военный уселся поудобнее, шинель его чуть-чуть распахнулась, стали видны медаль „За трудовое отличие“ и орден „Красной звезды“.

— Вас в Ленинград не пускали, а меня, наоборот, из Ленинграда не выпускали, по этапу вернули, — сказала женщина в оренбургском платке.

— Политической преступницей были? — сочувственно спросила девочка.

— Нет, просто муж затребовал. Я не хотела с ним жить. Меня по сватовству выдали, против воли, за богатство. Вот я, не спросясь, взяла, да к себе на родину и уехала. А муж сила был — поставщик двора его императорского величества. Пошел к полицмейстеру, пожаловался. Не любил он меня вовсе. Амбиция заговорила. Как это у такого человека и, вдруг, жена сбежала? Вот и привезли меня по этапу.

— Как же это так могло быть? — настаивала девочка.

— А очень просто. Законы такие были. Жена да убьется мужа своего — знаешь заповедь? Да, вы этого ничего не знаете. И слава богу. Теперь у меня другой муж, — сказала она и замолчала. — На фронте он. А я его в цехе заменяю.

— Верно, изменилась судьба наша при советской власти. Особенно теперь это замечаешь, — вмешался в разговор до сих пор молчавший человек лет 32, в бобровой шапке и с бобровым воротником. Вот похож я на мужика, скажите, похож? — обратился он к соседям, слегка напирая на „о“.

— Так не похожи, — сказал мальчик, — только „окаете“.

— Ну, оканье это волжское. И Горький „окал“, и Шалапин. А я около Шуи родился — слышали? Думаю, не похож я на мужика, — настаивал он на своем. — Вот и бобры такие раньше только прокурор носил. Я недавно докторскую диссертацию кончил. Приходите, товарищи, послезавтра все на защиту, обязательно приходите. Вот и билетки вам дам. Тема, правда, немножко специальная. Но, я думаю, это ничего. Большое все-таки дело для человека — докторская степень... А ведь только в 1926 году я из деревни выехал. Как сейчас помню, — еду я в поезде, первый раз в жизни. На ногах — смазные сапоги, отец на дорогу справил, а в руках держу мешочек с сухарями, мать дала, боюсь из рук выпустить, чтобы не украли. Потом уже в рабфак поступил, — обтесался.

— Просто не верится, — в раздумье сказал мальчик, — что все так и было, как вы рассказываете. То-есть я читал, конечно... знаю. Но все-таки... Правожительство... этап... — повторил он, как бы закрепляя в памяти непривычные понятия.

— Было, милый мой,, именно так и было, — сказал военный — Кто твой отец?

— Домработник, дворник в этом доме.

— А ты кто?

— Я школьник, в 8-й класс перешел...

— А потом что собираешься делать?

— В медицинский хочу пойти.

— Ну, так вот этого всего раньше никогда не могло быть. Из дворницкой дальше сапожной мастерской дороги не было.

— Так мы привыкли уже. Не замечали до войны. Казалось, что все так и надо. Другой никакой жизни не бывает, — продолжал военный. — А теперь как-то особо ценишь свою советскую судьбу. Разве променяем мы, ленинградцы, нашу советскую судьбу на судьбу с правожительством, невежеством, этапами, изнурительной работой для одних и бездельем для других?

— Не променяем, — сказал будущий доктор естественных наук.

— Не променяем, — подтвердил мальчик.

— Ни за что не променяем, — подтвердили женщина и девочка.

— Отбой! — закричали сверху. Собеседники разошлись. Я пошла за ними.

Дм. ФУРМАНОВ

(Страницы из жизни и творчества)

С историей революционного движения в Иванове связано имя великого большевика — полководца Михаила Васильевича Фрунзе; здесь же, в Иванове, рос и мужал автор всемирноизвестного романа „Чапаев“. Город ткачей с их революционной борьбой стал политической колыбелью Дм. Фурманова, где он впервые окунулся в революционные дела, вступив в ряды ВКП(б); отсюда он отправился на фронт гражданской войны и стал политическим комиссаром Чапаевской дивизии. Но куда бы ни приходилось уезжать Дм. Фурманову, он чувствовал себя связанным тысячами нитей с родным городом. Настоящая статья и ставит своей целью обобщить материалы и документы, связывающие Фурманова с Ивановым, и на основе этих материалов дать анализ идейно-политического роста Дм. Фурманова и его литературных начинаний. Автор опирается в своей работе на некоторые неопубликованные документы эпистолярного характера, а также на письма, стихи и очерки, которые были единственный раз напечатаны в Ивановской прессе за 1917—1922 годы и в большинстве случаев забытые, между тем, представляющие огромный интерес с точки зрения изучения плодотворного развития творческого пути Дм. Фурманова. Статья не претендует на исчерпывающее освещение поставленных вопросов и является частью работы автора о Дм. Фурманове.

I

31 декабря 1908 года в Иваново-Вознесенском приказничьем клубе состоялся новогодний маскарад. Семнадцатилетний Дм. Фурманов явился на маскарад в костюме крестьянской девушки. Может быть и не следовало бы упоминать об этом факте, если бы он не повлек за собой

нижеследующих событий в жизни молодого человека. На маскараде Фурманов познакомился с Наташей — учительницей математики. Знакомство скоро вылилось в крепкую дружбу, длившуюся в течение восьми лет. Наташа получила от Дм. Фурманова свыше ста писем, целый ряд стихотворений и рассказов, до сих пор нигде не опубликованных. Наташа часто бывала в семье Фурмановых, а Дмитрий Андреевич был всегдашним посетителем семьи С. Отец Наташи оказался большим любителем домашних драматических представлений, и здесь-то Дмитрий Андреевич особенно хорошо себя чувствовал, так как ему с успехом удавалось играть роли чеховских пьес, декламировать стихи Пушкина, Рылеева и Некрасова, или под аккомпанемент гитары исполнять различные песни: голос у него был приятный. В 1910 году Наташу назначили заведующей начальной школой в селе Новинском, бывшего Кинешемского уезда, там она прожила до 1916 года. За эти шесть лет Дм. Фурманов много раз посетил село, часто он приезжал туда вместе с группой товарищей, давал уроки деревенским ребятишкам, рассказывая им о русских писателях, а в перемены любил проводить с ними самые разнообразные игры.

Дмитрий Фурманов одевался просто. В летние дни он носил сатиновую косоворотку, широкую соломенную шляпу и штиблеты на очень толстой подошве: „дольше чинить не надо“, говорил он о них.

В Новинском он много читал. Особенно ему нравились романы „В лесах“ и „На горах“ Мельникова-Печерского. Фленушку он называл „сильной натурой“, а язык романа „чисто русским, простым и безыскусным“ языком. По вечерам с группой товарищей он отправлялся кататься на лодке; во время этих прогулок часто пел арию князя из оперы „Русалка“ или арию Ленского из оперы „Евгений Онегин“.

Однажды зимой, когда Дм. Фурманов возвращался с товарищами из села Новинского в г. Кинешму, их застал страшный буран. Лошади сбились с дороги. Дмитрий Андреевич предлагал товарищам опрокинуть сани и переночевать в поле: „Это будет хорошее испытание“, — убеждал он. Товарищи не согласились, поэтому пришлось повернуть обратно, в село. Этот маленький эпизод в жизни другого человека ничего бы не рассказал. Но жизнь молодого Дм. Фурманова была полна поисками различных испытаний.

В 1912 году Дм. Фурманов едет учиться в Московский университет. Огромное желание учиться и, главным образом, отыскать, уяснить себе цель и смысл жизни заставляют его покинуть Иваново, распрощаться с родителями и задушевым другом Наташей. В биографических справках о Дм. Фурманове обычно представлены его взаимоотношения с родным домом в кривом зеркале. Как правило, малоосведомленные биографы говорят о его отце, Андрее Семеновиче, как о суровом человеке, мелком торговце, желавшем из своего сына сделать тоже торгаша. Подобные формулировки очень общи и не дают никакого живого впечатления о взаимоотношениях писателя с семьей. Андрей Семенович, испытавший нищету в деревне, перебрался с детьми в 1897 г. в Иваново-Вознесенск с целью найти средства к существованию. После долгих мытарств ему удается открыть маленькую чайную, приведшую только лишь к бесконечным тревогам.

Семья Фурмановых скиталась с одной квартиры на другую, вынося массу жизненных лишений. Сам Андрей Семенович, оказавшись кругом в долгах, много переживал. Ему было любо, когда один из его сыновей, Дмитрий, получил возможность учиться в торговой школе, ведь об университете не приходилось даже мечтать. Дм. Фурманов отправился в Московский университет на свой риск и страх, совершенно не рассчитывая на помощь родственников, особенно испытывавших бедность, когда осенью 1913 г. умер Андрей Семенович. К жене Андрея Семеновича Екатерине Васильевне приходили люди, требовали старые долги (среди этих людей оказалось потом немало проходимцев, пользовавшихся доверчивым характером Екатерины Васильевны). В доме Фурмановых продавались последние необходимые вещи, а Дмитрий Андреевич, студент Московского университета, в это время обедал через день и ходил в старых клетчатых брюках, подаренных ему кем-то из жалости. В своих родителях Дм. Фурманов видел страдальцев, придавленных суровой действительностью. Бесконечная нужда семьи, смерть от чахотки младшего брата, Александра Андреевича, немогания матери, поиски работы других членов семьи — все это оставляло неприятный осадок на жизненных впечатлениях молодого человека. Стремясь определить свое место и цель в жизни, он возлагал большие надежды на университет, но увидев, что университет не может разрешить его проблем, он не раз обращался к Наташе с просьбой поехать с ним в Сибирь.

— Туда сосланы лучшие люди, — говорил он, — там мы научимся многому, там немало таких уголков, где наши скромные знания принесут пользу людям.

Поехать в Сибирь молодому человеку так и не удалось. Не связанный с революционными организациями, он не знает еще, на что направить свою энергию. Буржуазно-дворянская Россия ему была ненавистна, об этом он пишет в одном из своих неопубликованных юношеских стихотворений, которое начиналось строчками, полными горькой иронии:

Для жизни нужны золото и шпоры,
Без денег умница — дурак...

Начавшаяся империалистическая война толкает юношу стать братом милосердия в санитарном поезде земского союза. Помогать народу — единственное желание Дм. Фурманова. Пока он видит только одну форму помощи: перевязывать раны искалеченных войною людей. На первых порах роль брата милосердия ему кажется полной благородства. 14 октября 1914 года он писал матери: „...Мне придется ездить с санитарными поездами и перевозить раненых из города в город. Решил я это дело крепко, так что, дорогая мама, ничего меня не спрашивайте“.

А 29 октября этого же года он писал Наташе:

„...Жаль университета, жаль маму, тебя... что уезжать тяжело и больно — об этом, конечно, и говорить нечего. Но что-то влечет меня туда неудержимо. Понимаешь всем существом своим, что сделался вдруг хоть и маленьким, но необходимым винтиком в этой огромной машине общественной жизни“.

Из опубликованных дневников писателя известно, с каким ужасным впечатлением покинул он театр империалистической войны. Что касается его неопубликованных писем, то они еще красноречивее свидетельствуют о новых настроениях молодого человека. Так, уже 13 сентября 1914 года он чистосердечно высказал свои переживания в письме к Наташе: „Я говорил тебе, что лазаретная работа захватила, что душу всю мою заполнила — так это, кажется, я только сам себя уверил и обманул. На деле не то: пусто в душе и как-то мерзко самому от этой пустоты“...

Где же причина такого разочарования? Причина ясна. Дм. Фурманов рос и рос, прежде всего, идейно. Он все более начинал понимать бессмысленность империалисти-

ческой войны для народа. Задавая не раз себе вопрос, во имя чего же происходит вся эта адская резня и не понимая еще классовой сущности империалистической войны, Дм. Фурманов, однако, скоро понял, что народ обманут, что он также находится в полном неведении подлинных целей происходящих событий, как и большинство людей, его окружающих. „Сидишь вот и гадаешь, словно старушка на бобах, — писал он в 1915 г. матери, — а на деле — на деле ничего-то я не знаю, ничего-то не понимаю я в этой драме. Да и кто что знает? Вам гадать не приходится — вас питают газеты, поющие, словно поломанная шарманка, одну и ту же фальшивую песню о нашем благополучии... Эта песня, как усыпляющая песня сирены, завела нас в Карпаты, откуда миллионы страдальцев выбрались только потому, что они — русские люди и привыкли ко всякому горю. Ведь на нашем месте другой народ погиб бы целиком“. В эти годы Дм. Фурманов был уже автором целого ряда стихотворений и рассказов. Правда, все это нигде не печаталось да и до сего времени никому неизвестно. Натане он часто адресовал стихи. Увлекаясь поэзией Надсона и испытывая на себе его влияние, Дм. Фурманов в то же время выражал в стихах оптимистичность своих переживаний, не лишенных романтики. Вот несколько строчек из его большого стихотворения, датированного 20 ноября 1913 года:

...Как будто ты пришла затем, чтоб чашу горя
Веселую рукой, как фея, расплескать.
Как будто ты пришла затем, чтоб волны моря
В душе моей заставить биться и рыдать.
Я видел все с тобой, я все узнал с тобою:
И вежный запах роз, и страшный рев волны,
Я видел листопады осенью, глухою
И пробужденный мир красавицы-весны.
Умчаться бы скорей в безбрежные просторы,
К замороженным феям, в царство красоты,
Или орлом взлететь на сумрачные горы
И встать перед лицом бездонной пустоты.
Но и в долине мира, в царстве ясной грезы
Из легкой и стыдливой молодой мечты
Смыкаются живые лепесточки розы
В знакомое лицо, в знакомые черты...

Во всех лирических стихотворениях Дм. Фурманов старательно подчеркивает свой „неотверделый путь“, туман-



„Ополчение Мишина и Пожарского“. Картина ивановского художника Калашникова Н. Д.

ность стремлений, стоявших молодому человеку сильных, мучительных переживаний. Иногда он жалуется Наташе на „духовное одиночество“, высказывает элегические мысли, и тем не менее, его не покидала бодрость, жизнелюбие, вера в прекрасное будущее. Какой бы туман ни сгустился над его головой, он жадно отыскивал лучи солнца.

4 мая 1913 года, глубокой ночью, он написал стихотворение, где виден человек, полный жизни и лирической взволнованности, человек, которому чужды всякие упаднические настроения, свойственные обычно влюбленным гимназистам. Вот часть этого стихотворения, написанного под сильным формальным влиянием поэзии Кольцова, где ясное солнце выступает олицетворением всего прекрасного:

...Я возьму тебя крепко за руки,
Уведу с собой в даль туманную...
Зацелую я губы алые,
Очи, спавшие от бессилия...
Обойму тебя, мою милую,
Горячо прижму к молодой груди.
И шелковые кудри светлые
Буду гладить я, приговаривать:
„Ты храни меня, ты люби меня,
Раздели со мной радость светлую,
Обойми скорей, поцелуй меня,
Разожги в груди пламя чистое.
Ты гори, гори, Солнце ясное,
Путь мой радостью освещаючи,
Я люблю тебя за любовь твою,
За огонь лучей в утро майское“.

Одновременно со стихами Дм. Фурманов пишет небольшие рассказы, многие из которых, надо думать, затеряны, однако то, что сохранилось по сей день, — достаточно хорошо дополняет круг переживаний и интересов юноши.

20 мая 1915 г. Наташа получила от Дм. Фурманова не совсем обычное письмо. На десяти страничках почтовой бумаги было написано три миниатюрных рассказа-этюда.

Два первых рассказа написаны из жизни бедных людей, осыпаемых зловещими ударами бесконечных несправедливостей капиталистического мира. Нельзя не чувствовать слез, почти рыданий автора, с которыми он описывает нищую девочку в первом рассказе. Пользуясь тем,

что эти литературные материалы еще нигде не опубликованы, приведем рассказ-этиюд о нищей девочке целиком.

— Милая детка, что ты прижалась, дрожишь вся?

— Я собираю...

— Собираешь? Ну, поди сюда... Поди, милая...

Ребенок как-то нерешительно отодвинулся от столба и боком стал придвигаться ко мне. Крошечная девочка, совсем еще маленькая: ей было не больше семи лет. Странно, — с первого взгляда она вселяла бесконечную жалость. Хотелось плакать, глядя на эту несчастную, заморенную крошку. На голове у нее был накинута какой-то темный платок, а может быть, и не платок даже, может быть простая тряпка — трудно было определить: формы терялись в бесчисленных складках и висели по обеим сторонам лица, а сверху сбились в какую-то неопределенную массу и торчали во все стороны темными дюнами. Лицо бледное, худое... Так вот и кажется, что плачет оно, это личико, плачет беспреестанно и неутешно... Столько в нем отразилось беспомощности, загнанности и ранних несчастий, что больно было смотреть. Под темным платком оно казалось еще бледнее и удрученней. В глубоких впадинах блестящих огромных черных глаз. Они были все время полузакрыты, словно сеткой, огромными ресницами. Но когда поднимались ресницы и глаза широко раскрывались, — чудилось, что вот-вот польются застоявшиеся, невыплаканные слезы. Грусть, бессознательная тревога и ощущение непрестанного горя запечатлелись в этих ласковых и кротких детских глазах...

Опустились, как плети, худые и длинные ручонки. Пальцы все теребили изодранное платье и непрестанно двигались, словно искали что-то и не могли найти...

Худое, старое платье... Когда-то оно было красивым, горело восточными цветами и стройно лежало на маленькой фигурке такого же крошечного существа. Девочке пришлось оно с чужих плеч — все дырявое, грязное, никому ненужное. И как-то особенно грустно было думать, что красота полиняла и так вот испортилась. Лучше бы это платьице было темным, незаметным.

Переход от незаметной скромности к упадку и разложению как-то легче перенести, чем от величавой красоты и бьющей в глаза полноты жизни. А притом — его прошлое так не вяжется с настоящим этой вот малютки; и самое сравнение звучит как-то оскорбительно. А башмачки — на что они похожи? И чего тут больше: дыр или заплат?

Словно блики — всюду выглядывают бледносерые пятна голых ног, словно пытаются выбраться наружу.

И вся она такая худенькая, маленькая, грустная... Подошла ко мне, положила палец в рот и стала сосать его. Головку опустила еще ниже на грудь и вскинула на меня свои робкие, испуганные глазки. Мне почудился в них укор. Почему — я не знаю, но вдруг сделалось неловко и чего-то стыдно, словно я обидел этого ребенка, провинился перед ним. Она молчала и, может быть, не поняла или не слышала половину моих вопросов.

— Как тебя зовут, милая?..

— Наташа..

Наташа? Вздрыгнул я. Высынал как-то поспешно ей в руку все свои медные деньги, поцеловал в бледный лоб и чем-то испуганный и встревоженный быстро отошел от несчастного ребенка.

Во втором рассказе передается печальная история одного рабочего человека, у которого от непосильного труда умирает жена. Если в ранних стихах Дм. Фурманов, ненавидя окружающую действительность, мечтал убежать „в безбрежные просторы, к замороженным феям в царство красоты“, то теперь он все сильнее всматривается в земную жизнь, говорит о ней и мучительно ищет причины ее обнаженной отвратительности.

Так, в третьем рассказе он старается высказать мысль о том, что горе и несчастья начинаются там, где один человек хочет сделать собственностью другого, подобного же себе человека. Герой рассказа передает историю своей любви к одной девушке. Несмотря на полную взаимность и теплоту отношений любовь терпит крушение. „Мы сделались женихом и невестой, — говорит герой, — скоро должны были венчаться. И понимаешь ты: она почувствовала меня своим, какой-то собственной вещью... Она целовала меня на людях, изменила круто отношения ко мне, и я увидел вдруг, что из-за красоты, кротости и женского целомудрия выглянуло другое глупое и нудное лицо обыкновенной мещанки. Я отшатнулся, словно от бездны: ведь это на всю жизнь связываю я себя, навеки...“

Что же будет тогда, через несколько лет, когда цветок этой второй мещанской души распустится вполне?..“

Все эти три рассказа были написаны в то время, когда, кстати сказать, Дм. Фурманов побывал на фронте империалистической войны и стоял на пороге полного разочарования по отношению к своим занятиям брата милосердия.

Дм. Фурманов в юности хотел найти применение своим большим силам и энергии, стать максимально полезным человеком. Движимый единой целью быть полезным народу, — он то ходит с товарищами помогать крестьянам в уборке хлебов, то отправляется на фронт империалистической войны, надеясь уменьшить человеческие страдания перевязкой кровавых ран. Сначала молодой человек верил в пользу таких дел, но разочарование наступало быстро. Он прекрасно видел, что жизненное зло царской России от этого не становится меньше. Продолжая идти по жизни ощупью, Дм. Фурманов черпает силу и энергию из своей непреклонной веры в счастливое будущее. Как всегда в таких случаях, дело не обходится без романтических переживаний, он мечтами уносится в „долину мира, в царство ясной грезы“, одновременно чувствуя все еще свой „неотвердевший путь“.

Революционные события в Иванове многому научили Дм. Фурманова, помогли разобраться в сложном переплете общественной жизни и борьбы.

Общественная и литературная практика Дм. Фурманова день ото дня все более увязывается с подлинными интересами народа, органически срастается с насущными целями революции, и только этим можно объяснить ту огромную и чрезвычайно волнующую искренность, с которой он открыто рассказал о своих политических заблуждениях и ошибках.

История не только русской, но и мировой общественной мысли не знает примера, похожего на тот беспощадный анализ, с которым выступил Дм. Фурманов, касаясь своих политических ошибок. Дм. Фурманов принадлежал к лучшей части интеллигенции, неизбежно идущей к коммунизму.

Ивановский пролетариат доверял Дмитрию Андреевичу ряд самых ответственных революционных поручений. Так, уже 16 августа 1917 г. его кооптируют в члены Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов. Дм. Фурманов глубже входит в общественно-революционную работу.

28 августа на экстренном заседании исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов, где обсуждался вопрос о контрреволюционном выступлении генерала Корнилова,

Дм. Фурманов был избран в „Штаб революционных организаций“, созданный по инициативе горкома РСДРП(б).

В всемирно исторический день Великой Октябрьской революции телеграф принес в Иваново извещение о том, что Временное правительство свергнуто. В этот же день на заседании Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов по постановлению исполнительного комитета Совета и фракции большевиков был организован революционный штаб, куда вошел и Дм. Фурманов.

То выступая с лекциями среди рабочих по предприятиям, то участвуя в национализации буржуазных владений, то организуя, по предложению М. В. Фрунзе, губернский отдел народного просвещения, Дм. Фурманов все теснее смыкается с пролетариатом, все решительнее идет в лагерь большевиков.

В это время он попрежнему продолжает заниматься литературным творчеством с той существенной разницей, что его произведения приобретают все большую социальную окраску и идейную глубину. В 1917 г. в газете „Рабочий город“ он публикует ряд стихотворений на революционные темы. Стихи этого времени все еще несут на себе романтический покров, но романтизм не мешает автору идейно расти, ибо в основе его романтизма лежало здоровое, жизнеутверждающее начало. Вот несколько строчек из стихотворения, опубликованного в 1917 г.:

Тише. Огромное чудо свершается,
В темном лесу великан пробуждается,
В темном дремучем лесу.
Он еще дремлет под шапкой мохнатою,
Он еще сердцем и мыслью крылатою
Солнца не знает красу.
Видите. В небе заря занимается,
Светлое солнце из мглы поднимается —
Хочет оно осветить.
В заросли хмурые, в дебри безродные
Врезать лучи золотые, свободные,
Светом от сна пробудить...

Нередко в стихотворениях этого периода Дм. Фурманов, говоря о новых событиях, использовал старый поэтический словарь. В стихотворении „Клич“, опубликованном в „Рабочем городе“ 22 декабря 1917 г., он восторженно призывает собраться под красное знамя, и тогда:

Люди увидят великого бога
На иглах терновых венца.

Такая поэтическая лексика вполне понятна. Дм. Фурманов в прошлом не был связан с революционными организациями, с революционным подпольем, где бы можно было черпать новый словарь, тем более, надо иметь в виду, что одним из любимых его поэтов являлся Надсон, который очень часто гражданские мотивы в своей поэзии выражал подобными словами.

Художественное достоинство приводимых стихов Дм. Фурманова невелико, они интересны, конечно, как определенный этап в творчестве писателя, и здесь следует подчеркнуть, что революционный рост Дмитрия Андреевича очень уж скоро позволит ему найти новые средства языка и художественной выразительности. Если взять его стихи за 1918—1919 годы и сравнить со стихотворениями 1917 года, то разница их с точки зрения языковых средств обнаруживается настолько, что получается впечатление о двух разных авторах.

Глубокое осмысливание революционных событий неизбежно влекло за собой новые формы и средства художественной выразительности. Среди произведений, напечатанных в 1917 г., следует выделить „Легенду об унглах“, заслуживающую большого внимания. Она была напечатана в „Рабочем городе“ 25 ноября.

„Далеко, далеко, за высокими горами, за темными морями, за глубокими пещерами и тихими долинами жило племя великанов-унглов. Владыкою племени был карлик Крафт, который питался кровью великанов. У него, у Крафта, была целая свита таких же карликов, питавшихся кровью унглов. Карлики жили среди великанов, следили за их жизнью и обо всем доносили Крафту. А он, жестокий и злой, беспощадно мучил покорных великанов“. Так начинается „Легенда об унглах“. Далее в ней рассказывается о том, как в течение целых столетий терпели страшное мучение унглы, „пока не явился к ним добрый дух, по имени Глюк, и не взялся пособить их безысходному горю“. Унглы сначала недоверчиво отнеслись к Глюку: их пугал тот путь, который надо пройти в „сказочное царство горной радости“.

Недоверчивостью унглов к Глюку воспользовался кровожадный Крафт и его карлики. Они стали убеждать унглов, что Глюк хочет погубить все их унгово племя, хо-

чет увлечь его за собой на высокую гору и свергнуть оттуда „в ледяную бездонную пропасть“... „Тянулись по-старому годы страданий и смертельной скорби унгов-великанов. Карлики стали еще строже и злее, боясь, что глюково семя пустит ростки“.

И, действительно, глюково семя взошло. Долго еще не решались унглы пройти путь обрывов и бездн, колючего терновника и черного бора, но когда под властью Крафта „все ближе подходила бескровная, белая смерть“, унглы решительно и сурово двинулись в путь.

Легенда заканчивается тем, как унглы, идя в новый мир, оборачиваются назад и видят там „крошечные, жалкие трупки“ своих бывших поработителей. Нет надобности комментировать смысл этой легенды. И тогда, в 1917 г., читатели прекрасно понимали, о чем идет речь, и что следует разуть под племенем великанов-унгов и под кроважадным Крафтом и его свитой карликов. „Легенда об унглах“ не лишена большой художественной выразительности, она написана под несомненным влиянием романтических произведений Горького, о чем свидетельствует конкретность выразительных средств и художественная лаконичность всего произведения.

В это время Дм. Фурманов не был еще большевиком. Ему предстояло пережить ряд политических колебаний, однако весь темперамент, все чувства писателя были на стороне народа. С огромной любовью он говорит об унглах, сбросивших гнет хищников и тунеядцев, которые превратились в „крошечные, жалкие трупки“. Революционные события в городе ткачей многому научили Дм. Фурманова.

Огромное влияние на Дм. Фурманова оказал бессмертный полководец-коммунист М. В. Фрунзе, приехавший в Иваново в начале марта 1918 года. Будущие биографы Дмитрия Андреевича должны непременно помнить, что отношения М. В. Фрунзе с Дм. Фурмановым — существенная глава в жизни писателя-воина, тем более, что на этот счет имеется обильный материал.

По собственному признанию Дмитрия Андреевича слова М. В. Фрунзе „расколотили последние остатки анархических иллюзий“. Идеи большевизма, идеи Ленина — Сталина становятся для него „твердыней убеждения“.

Сложен и извилист был путь Дм. Фурманова к большевизму, этот путь иллюстрирует, как разные люди по-разному приходили к осмысливанию коммунистических идей.

Дм. Фурманову становится ясно, что только большевики смогут привести народ к торжеству коммунизма, к раскрепощению личности, к расцвету культуры и все-народного счастья.

М. В. Фрунзе рекомендует Дмитрия Андреевича в партию большевиков, и 5 июля 1918 г., когда он подал заявление о вступлении в партию Ленина — Сталина, он тут же записал в дневник:

„Только теперь начинается сознательная моя работа, определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная борьба с врагом. До сих пор она являлась плодом настроений и темперамента, отсюда она будет еще, — и главным образом, — плодом научно обоснованной, смелой теории“.

В самом деле, с этих пор у него начинается новая жизнь, самая интересная и яркая. Дм. Фурманов, помимо чтения лекций и докладов в Серее, Лежневе, Кинешме, в ряде деревень и сел, помимо большой работы в Ивановском губисполкоме, отдает много времени участию в газете „Рабочий край“, где еще до отъезда на фронт выступает с целым рядом статей по вопросам партийного строительства и политико-просветительной работы. Так, в 1918 г. в „Рабочем крае“ на эти темы были опубликованы статьи: „Женщины и дети Парижской коммуны“, „Дисциплина коммунистов“, „Организация новых ячеек“, „Организация сочувствующих коммунистам“, „Курсы для инструкторов-внешкольников при губернском отделе просвещения“ и т. п.

Дм. Фурманов — подлинный питомец большевистской партии, сын русского народа, герой гражданских битв. Только освещенный идеями Ленина — Сталина, он получает возможность идти широкой и красивой дорогой жизни. Теперь ему ясна была жизненная перспектива. Теперь его страсть, темперамент, все лучшие способности получают возможность разворачиваться и расти. Понадобилось немного времени, чтоб страна заговорила о нем как о прославленном герое гражданской войны и высокоталантливом писателе.

III

В тяжелый 1919 год, когда контрреволюционные войска хотели задуть молодую страну Советов, в Иванове формировался отряд ткачей-большевиков по борьбе с контрреволюцией. Ивановский пролетариат особенно горел же-

ланием уничтожить врагов, чтобы очистить путь к Туркестану, путь к советскому хлопку.

В одном из решений пленума Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) было записано: „Создать особый отборный коммунистический отряд из рабочих текстильщиков, предоставив его в распоряжение М. В. Фрунзе“. А 30 января 1919 года этот отряд отправился на фронт.

Дм. Фурманов также рвется на передовые позиции классовых схваток. В это время он записывает в свой дневник: „Долго носил в душе мечту о поступлении в ряды Рабочей Армии, теперь эта мечта должна осуществиться. Нечего оттягивать дни — вопрос должен быть решен завтра же... Наступил момент... надо твердо заявить: „Я борец в нашей армии, я борец за наши идеалы“.

Добившись разрешения М. В. Фрунзе, Дм. Фурманов отправляется на фронт, возглавляя второй отряд добровольцев-текстильщиков. Старым ивановским ткачам памятен день проводов своих лучших сынов на борьбу с врагами, день, когда Дм. Фурманов говорил простую, но каждым словом трогающую сердце прощальную речь:

„...И еще вам одно слово на разлуку: работайте, дружнее работайте. Вы — ткачи и знать про то должны, что чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях... Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да! Но если и не будет встречи — что тужить: революция не считает отдельных жертв“...

В лице Дм. Фурманова формировался новый тип писателя. Он выступает как писатель-боец, общественник, пропагандист. Находясь в боевой обстановке, он продолжал свое литературное дело. Правда, времени для литературных занятий нехватало. Писать приходилось урывками, в краткие промежутки между боями. Часто он заносил в записные книжки отдельные зарисовки, эпизоды, картины только ночью, когда красноармейцы и их командиры спали и не дремали одни лишь часовые.

Покинув Иваново, Дм. Фурманов прекрасно понимал, что ивановские текстильщики с нетерпением ждут вестей с фронта о беззаветных героических сражениях Красной Армии с врагами революции. Еще до отъезда на фронт Дмитрий Андреевич уже имел опыт газетного работника: в 1917—1918 годах он не раз выступал с различными статьями сначала в газете „Рабочий город“, потом в „Ра-

бочем крае". Теперь, с 1919 г., он шлет корреспонденции в "Рабочий край", среди которых много кратких писем, небольших статей и художественных очерков.

В одном из первых писем с фронта, напечатанном в "Рабочем крае" 15 марта 1919 года, Дм. Фурманов рассказывает о разложении среди войска врагов, об отказе целых полков воевать против Красной Армии и особенно останавливается на том, как красноармейцы проявляют огромную любовь к политработникам. 20 мая 1919 года в "Рабочем крае" появляется сообщение о героическом подвиге одного из командиров, который "взяв с собой несколько красноармейцев и переправившись через реку, умело произвел разведку под носом у неприятеля". Потом "окружил деревню и с громким "ура" ворвался в лагерь белых. Там поднялась неимоверная паника... Белые опешили и без сопротивления были переловлены"...

Нечего и говорить, как ивановские текстильщики воодушевлялись от подобного рода сообщений, как с удвоенной энергией они преодолевали разруху и голод, веря в неминуемую победу над белобандитами. Свои корреспонденции Дм. Фурманов присылал и из Чапаевской дивизии и из далекой Семиреченской области. Писал о бандах Анненкова и Щербакова, о кулацких мятежах и заговорах.

Однако Дм. Фурманов не ограничивался одной темой в своих сообщениях. Помимо изложения исторических фактов, геройских поступков и действий Красной Армии, он нередко адресовал в "Рабочий край" статьи на самые различные общественно-политические и хозяйственные темы. Будучи прекрасным пропагандистом, он, например, публикует статьи по следующим вопросам. О шкурниках, примазавшихся к партии, он пишет в статье "Партийный мусор". В статье "Значение первого опыта" говорит о восстановлении народного хозяйства. Пишет статьи на темы: "С кем идут рабочие Англии", "Продовольственные перспективы" и т. д. Особенно интересны статьи о необходимости собирать материал по истории гражданской войны. В "Рабочем крае" 12 июля 1921 года появляется призыв Дм. Фурманова к кропотливому сбору фактов и цифр по истории революции. "Мы видели героизм великой армии, — писал он, — видели и меньший героизм многострельного и глубоко солидарного тыла. Мы жили в неведомой дотоле экономической обстановке, которая вот-вот готова была обрушиться и загубить нас, но мы из каждой новой битвы выходили победителями. Пора подводить ито-

ги минувшему периоду. Факты и цифры этих итогов, конечно, надо будет брать от мельчайших ячеек, с самого низу“...

Прекрасные способности пропагандиста и агитатора позволяли Дмитрию Андреевичу ставить в газете целый ряд самых волнующих и животрепещущих вопросов. Связь Дм. Фурманова с „Рабочим краем“, помимо всего сказанного, имеет и еще одно очень важное значение. Именно здесь он публикует такие материалы, очерковые зарисовки, которые впоследствии были им использованы в романах „Чапаев“ и „Мятеж“. Конечно, по своей художественности очерковый материал, присылаемый в „Рабочий край“, был значительно ниже каждой страницы романа „Чапаев“. Однако это вполне понятно. Будучи в ответственной боевой обстановке, Дм. Фурманов не мог оттачивать каждую фразу. Только впоследствии он пересмотрел все им написанное, значительно расширил за счет своих знаменитых записных книжек и богатой памяти, привел в стройную художественную картину все изображенные им исторические события. Вот один из многих примеров того, как напечатанные в свое время очерки в „Рабочем крае“ явились живой прелюдией к роману „Чапаев“. 3 июля 1919 года в газете появился большой очерк Дм. Фурманова „Пилюгинский бой“, содержание которого сводится к следующему:

25-я Чапаевская дивизия вступила в бой с войсками Колчака. Дивизией руководят Чапаев и Фурманов.

Рисуя героизм чапаевцев и теплые симпатии крестьянства по отношению к ним, писатель показывает, как победа остается за славной дивизией Чапаева. Этот очерк впоследствии вошел под тем же заголовком „Пилюгинский бой“ в книгу „Чапаев“. Кроме того, ход событий в очерке, его композиция не были изменены совершенно. Так, например, подзаголовки очерка „Выступление“, „В цепи“, „Вступление“ — были оставлены Дм. Фурмановым и в книге „Чапаев“. Подобные замечания можно сделать и по другим материалам, напечатанным в 1919 году в „Рабочем крае“.

Очерки „Уфимский бой“ и „Освобожденный Уралск“ так же вошли, как главы в эпопею о гражданской войне. Связь Дм. Фурманова с газетой „Рабочий край“ не прекращалась и в то время, когда он жил в Москве и целиком отдался литературному творчеству и организации кадров пролетарских писателей. Загруженный большой и от-

ветственной работой на литературном фронте, он время от времени продолжал адресовать в Ивановскую газету свои корреспонденции. Так, 7 ноября 1922 года он публикует статью „Что вспомнилось“, где делится с ивановцами глубокими впечатлениями о событиях в Иванове в дни Октябрьской социалистической революции. В этом же году печатает статью о выступлении В. В. Маяковского в аудитории Московского политехнического музея. В 1925 г., в день семилетия Красной Армии, Дм. Фурманов присылает во владимирскую газету „Призыв“ воспоминания о фронтовых подвигах М. В. Фрунзе. Он рассказывает, как однажды Ивановский полк, оставшись без патронов и имея в распоряжении только штыки, оказался перед широким наступлением хорошо вооруженного противника; тогда „дрогнули цепи, не выдержали бойцы, попятились. В это время, — пишет Дмитрий Андреевич, — к цепям подскочили несколько всадников; это — Фрунзе, с ним начальник политотдела... несколько близких людей... Фрунзе с винтовкой забежал вперед!

— Ура, товарищи, вперед!

Все, те, что были близко, его узнали. С быстротой молнии весть промчалась по цепям.

Бойцов охватил энтузиазм. Момент был исключительный“.

Дм. Фурманов мечтал написать книгу о М. В. Фрунзе. Но рано оборвалась его кипучая жизнь, жизнь с боевой винтовкой и не менее боевым пером.

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Семеновский.

Родная земля	3
Путь	3
Чапаевцы	4
Саранча	5
Возмездие	6
Поможем раненым	7
Песня латвийских стрелков. Пер. с латвийского	8
У берегов Ловати. Пер. с латвий- ского	9
Отечественная война. Пер. с лат- вийского	10

М. Шошин.

Петряевский мельник	12
Никита Кобозев	17
Уважительная причина	22
Сергей Никитич и Константин Пет- рович	26

А. Благов.

Наследство	44
1 Мая 1942 г.	46
К победе	47
Чайка призывает бурю. Пер. с лат- вийского	48

В. Полторацкий.

Встречи	50
-------------------	----

М. Дудин.

Соловьи	67
Б. И. Пророкову	69
Девушка работает на складе	70
Он не ушел с поста	71

В.л. Кудрин.

Край родимый	72
Песня о соколе	72
Песня сестры	73

М. Кочнев.

Русские богатыри	75
Суворов	113
Ленинград	116
Братьям	118

Н. Рыленков.

Письма без адреса	120
-----------------------------	-----

А. Киселев.

Киевляне	124
Ротная песня	125
Подруге	125
Дружба	126
Письмо бойца	128

Л. Воков.

На штурм	130
На аэродроме	130

Г. Можаров.

Автофон	132
-------------------	-----

И. Зарайский.

Слово о пулеметчике Прохорове . .	146
Был у нас такой боец в отряде . .	148
Истребитель	149
Рассказ бойца	149

И. Дружинин.

Советскому врачу	151
Мы присягаем	151
Баллада о девушке-партизанке . .	152

От Ивановского областного отделения

Союза советских писателей	156
-----------------------------------	-----

И. Макаренко.

Командир-поэт	158
-------------------------	-----

А. Лебедев.

Поход на „Вест“	165
Ночь на Неве	166
Бухта безмолвия	167
Памятник	167
Воспоминания о Крыме	168
Тебе	168
Ее письмо	169
Трава забвения	170
Душе один короткий миг	171
Морбенам—море мертвых	171
Переживи внезапный холод	172

Л. Кудрин.

Обыкновенная история, или путь бандита	173
---	-----

Вл. Жуков.

Ночь отмщения	176
Возвращение	177

А. Марголина.

Письма из Ленинграда	178
--------------------------------	-----

Ген. Горбунов.

Дм. Фурманов	192
------------------------	-----

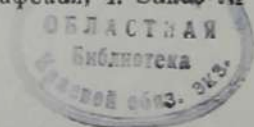
*Редколлегия: А. Н. Благов, М. Х. Кочнев,
Д. Н. Семеновский, М. Д. Шошин.*

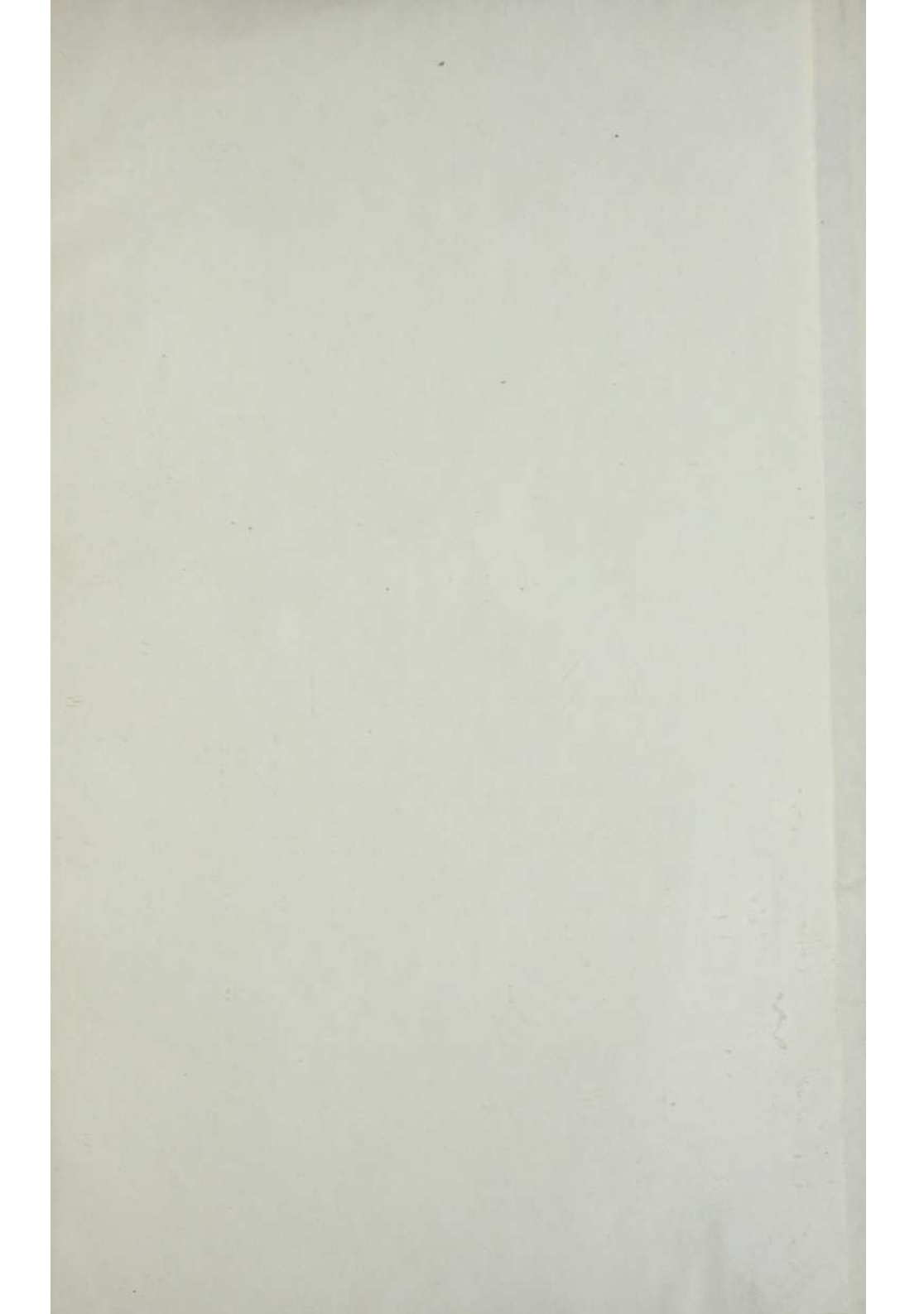
Обложка художника *В. Н. Говорова.*

Подписано к печ. 26. IX 1942 г. КЕ—24473. Тир. 5000 экз.
Печ. л. 13¹/₄. Авт. л. 11. Уч.-изд. л. 11,3. В печ. л. 38016 экз.

*Цена 4 р. 45 коп.
Переплет 80 коп.*

Типография издательства Ивановского областного
совета депутатов трудящихся, Иваново,
Типографская, 4. Заказ № 4326.





THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 10
PART 1
1880
LONDON
PUBLISHED BY THE INSTITUTE
21, BEDFORD SQUARE, W.C.
1880



5 руб. 25 коп.

